

ГРАН-ПРИ ПРЕМИИ

Рукопись года



Жанар Кусаинова

МОЙ ПАПА КУРИТ ТОЛЬКО «БЕЛОМОР»



Annotation

Перед вами сборник коротких рассказов. Они состоят из теплых и горьких воспоминаний о детстве, о любимых людях, о горном казахстанском поселке. Есть здесь и рассказы о Петербурге, сумрачном, туманном и все же сияющем городе. Герои этих рассказов – простые люди, обычные колхозники, горожане, дети, цирковые артисты, учителя, официанты, старики и старушки. Словом, все – мы и те, кого мы встречаем каждый день на улицах наших городов и сел.

Это истории о людях, которые навсегда остались в памяти автора книги, в ее сердце.

- [Жанар Батырхановна Кусаинова](#)
 -
 - [Мой папа курит только «Беломор»](#)
 - [Про дядю...](#)
 - [1989](#)
 - [Обломки настоящей Берлинской стены](#)
 - [Они ели из его ладоней](#)
 - [Счастье будет всегда-всегда...](#)
 - [История про греков](#)
 - [Королевы в изгнании](#)
 - [Мальчик все-таки поймал огромную рыбу](#)
 - [Про сварщика](#)
 - [Зернышки и якоря](#)
 - [Имена](#)
 - [Письма](#)
 - [Вражеские голоса](#)
 - [Как вылечиться с помощью словаря](#)
 - [Утешитель диких животных](#)
 - [Почувствуй себя любимой женщиной](#)
 - [Как хорошо, что вы меня не понимаете](#)
 - [И по всем каналам «Лебединое озеро»](#)
 - [Отгрызок великой династии](#)
 - [И будет новая жизнь](#)

- [Часы любили Давида](#)
- [Про Кайрата и его бабушку](#)
- [Человек-амфибия отправляется в космос](#)
- [Я протянула ему в подарок отрубленную руку](#)
- [Как разбитые елочные игрушки...](#)
- [Про пингвинов и дядю Мишу!](#)
- [Про человека-птицу](#)
- [Чистка «на классе»](#)
- [Папины ботинки](#)
- [История про слона говорящего, который вдруг замолчал...](#)
- [Беречь ее, как раненую птицу в кармане...](#)
- [Про змей](#)
- [Человек из моего детства](#)
- [Мы все немного лошади](#)
- [Пакет учит быть между...](#)
- [Мой дедушка Акира Куросава](#)
- [Позвони мне](#)
- [Замуж самостоятельно...](#)
- [Поэма тишины](#)
- [Синяя коробочка](#)
- [Про великана](#)
- [Сердце дракона](#)
- [История про Новый год](#)
- [И солнце, и весна, и умирать не хочется](#)
- [Мы вместе переходим черную-черную ночь](#)
- [Ты моя кузенька...](#)
- [Кино про любовь](#)
- [Жили мы терпеливо](#)
- [Потому что откликается...](#)
- [«Может, я была в трансе?..»](#)
- [Кофе маленький и дама с платочком](#)
- [Эротическая Роза](#)
- [Ты хотел со мной состариться?](#)
- [А записи на диктофоне остались](#)
- [А Смерть охотилась на Маленькую](#)
- [Черкни мне пару строчек!](#)
- [Тарелки и страны](#)

- [Она смотрит. Она просто смотрит...](#)
- [Про утюг](#)
- [Детские игрушки непобедимы!](#)
- [Про Марлена, моего друга, раздражителя полковников](#)
- [Я хочу рассказать о чуде](#)
- [Ворон и ворона](#)
- [Однажды](#)
- [Прах Марины](#)
- [Доплыть на серебряной лодке...](#)
- [А она сидит между ними...](#)
- [Тот мальчик и девочка та...](#)
- [Вместо ребенка](#)
- [У нее никогда не будет другого автоответчика](#)
- [Первый флейтист](#)
- [Я сказала... Он сказал...](#)
- [Или...](#)
- [Закрыться на месяц...](#)
- [А мальчик молчит](#)
- [Она умеет ждать...](#)
- [И еще кипяточку](#)
- [Варя кричала «НЕТ!»](#)
- [Синий билет](#)
- [Завтра мы поедем на рыбалку...](#)
- [Назову тебя я Харитоном](#)
- [Про мальчиков Корешковых](#)
- [Мама рыжего мальчика](#)
- [Про «мамскую» любовь](#)
- [Летят самолеты и, пользуясь случаем, привет Мальчишу!](#)
- [Типус и его сын](#)
- [Зита и Гита...](#)
- [Чашечку кофе и небольшой автограф...](#)
- [Сад и огород](#)
- [Радиоприветы](#)
- [Десять лет без сна](#)
- [Черно-белое спасение](#)
- [Здорово вы загорели](#)
- [Про алкаша Федьку](#)

- [Как Гоша крушил милицейские надежды](#)
 - [Брови надо выщипывать](#)
 - [Умиравший лебедь на трассе](#)
 - [Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины?](#)
 - [Игрушечная фамилия](#)
 - [Эзотерика](#)
 - [Из разговора двух влюбленных детей](#)
 - [Ветка сирени из соседнего двора](#)
 - [Родить клоуна](#)
 - [Где ты?](#)
 - [Про Косинуса, Зину и косу](#)
 - [Что я поняла за прожитую жизнь?](#)
 - [В первый раз](#)
 - [Транслирую любовь](#)
-

Жанар Батырхановна Кусаинова

Мой папа курит только «Беломор»

© Жанар Кусаинова, текст, 2014

© ООО «Издательство АСТ», 2023

Мой папа курит только «Беломор»

Мой папа курит только «Беломор». Привычка, многолетняя. Как я люблю этот запах, он меня успокаивает, и, как маленький рыцарь, защищающий меня от всяких бед, пачка «Беломора» всегда в моем кармане или сумке.

Без нее никуда не выхожу. Неприкосновенное, святое, неразменное. Это для папы, хотя мы с ним живем в разных городах и странах.

И все равно, что мы – чужие люди, у него – полжизни в тюрьмах, он вор в законе, авторитет, а у меня – все детство в интернате, он считает мои рассказы глупостью. И все, что делаю, – ерундой. Что за профессия такая – драматург?! И какая из тебя писательница?! Читал, ничего не понял! Скучно!

Когда мы вместе, то ругаемся, орем друг на друга, упреки-обиды (ты никогда, а ты всегда, ты опять, ты не можешь по-человечески, никогда тебя не прощу, как же я тебя ненавижу), а то и молчим тяжело – нам не о чем говорить.

Мы почти никогда не звоним друг другу, мы не поздравляем друг друга с праздниками, мы не пишем писем, не шлем посылок...

Мы чужие люди...

Но все равно, каждый мой месяц начинается с того, что я покупаю пачку «Беломора» (это для него, это для меня...).

А потом, когда бывает грустно, или больно, или радостно, достаю, глажу, вдыхаю запах, родной, знакомый с детства, и появляется чувство, что папа рядом, он защитит и все будет хорошо. А если и так все хорошо, то отец, конечно, разделяет мои радости, мы ведь друг другу...

А в конце месяца отдаю пачку нищему на углу. Так надо.

Нищие уже знают меня в лицо, привыкли, что раз в месяц им странная девица отдает пачку «Беломора». Когда видят меня, ждут, дежурно протягивают ладонь...

Вот сегодня утром я все перевернула, нет пачки: ни в сумке, ни в карманах. Нет, я не могла ее скурить, я не курю, я просто ношу в кармане.

Нет нигде, всех в коммуналке расспросила, никто не видел и не помнит. Дядя Юра – сосед мне свою принес, а мне не надо, мне надо ту, которая для папы, неразменная.

Глупость, скажете? Глупость, согласна. Но это мой кусочек дома, который далеко. Это мой медный гвоздик из родной стены, крохотулечный кусочек родины здесь, на чужбине.

Я металась по своей комнате, а надо было бежать, звали, искали меня в городе, звонили и требовали, чтобы я пришла. Работа – дела и так далее... А я не могла выйти... Я ведь без нее, как рыцарь без доспехов, я как без кожи...

И, наконец, махнула рукой, ну, видимо, так надо. Высшие силы решили так, зачем-то, почему-то. Неизвестно почему.

И вдруг папа позвонил. Из родного города, из другого мира.

Папа спросил строго:

– У тебя что-то случилось? Я уснуть не могу. Ты мне снишься, ты все мечешься, ищешь что-то. И карманы твои пустые.

– Нет, папа, – ответила я. – У меня все в порядке, только вот пачка пропала, «Беломора», которая тебе всегда, ты ведь знаешь.

– Ничего страшного, – ответил он. – Главное, что я знаю...

– Ага! Тогда я пойду?

– Иди, под ноги смотри, и прошу тебя очень, не тусуйся со всякой шушерой, типа твоего Костика...

И снова поругались!

Все-таки мы чужие люди... Не понимаем друг друга...

И для меня начался день. И был он легким и самым счастливым. Я ведь рыцарь, чьи доспехи никогда не заржавеют и не пропадут, ведь даже если я потеряла эту чертову пачку, не важно – главное, что папа всегда знает.

Про дядю...

Вспоминается разное. Вот был у меня дядя Марат (цирковой артист), помер лет пять назад, редчайший бабник. Такой бабник, что если открыть энциклопедию на слове «бабник», то там можно увидеть его фотографию.

Нет, не красавец! У нас в роду с эффектной внешностью как-то грустно, очень грустно. Ну, такой он был, как бы помягче сказать... не то чтобы некрасивый, но вот было в нем что-то такое...

Он, если по правде говорить, темпераментный был мужик, и в окна лазил, и цветами подъезды заваливал, и шампанского ванны устраивал. И цыганский хор под окнами, и все такое. Женщины любили его. Вешались на него, гроздьями.

Детей у него было немерено, и каждый карапуз – самый любимый.

В цирке работал, в джигитовке, на конях делал смертельные трюки. Без страховки. Легкий был человек, веселый, анекдотов знал море. Все к нему тянулись. Все его любили. Бывают такие люди-праздники, с ними и версту на морозе, без куска хлеба – как радость.

Хохотал он так, что просто стены тряслись, фокусы показывал, часов не носил, в зеркало не глядел, морщин не считал. Дарил щедро, никому не мстил.

Только грустил он порой, а чего грустил, никогда не скажет. Ты ему: «Дядя, чего ты?» А он отмахнется да нальет всем вокруг вина.

Учил меня пить вино и ценить его. Говорил, что вино – лучший собеседник для человека... если внимательно прислушиваться к себе после плотка.

А еще у него была коробка – магнитофонные записи. Там голоса разных людей, с кем судьба свела. Песни какие-то, чей-то смех.

И другая коробка пыльная, где – фотографии. Дядя сам голоса записывал и людей фотографировал. И самое важное, самое ценное из прошлого, уголок какого-то разорванного письма. Там строчка была, помню наизусть: «Посмотри на меня, я буду сидеть в пятом ряду, в красном платье! Я же приехала! Ты меня правда ждал?»

Я часто спрашивала, что это? От кого это? Откуда? Дядя говорил, что это главное, самое главное в его жизни. И больше ничего. Никаких подробностей.

А когда мама болела и лежала в больнице, а папа в это время опять оказался в местах не столь отдаленных, дядя забрал меня к себе, в цирковую общагу. Там открылось и поразило меня, что быт у дяди неустроенный, и живет он холостячки, и не так молод, как мне кажется, и что на самом деле он грустный, стареющий, лысеющий человек. И анекдоты у него старенькие, и он всем рассказывает одно и то же, крутится в узком репертуаре, и зубы у него вставные.

Человек-праздник растворился в воздухе, распался в прах. Дед Мороз умер.

И, к сожалению, были запои, дядя пил так много, что даже из цирковой общаги его выперли за аморалку. Это все равно как если бы самогонщики перестали с вами общаться, потому что вы, пардон, пьяница.

И нас вышвырнули. Идти оказалось некуда. Бабы все заняты (работа, замужем, новый любовник, уезжаю в командировку, и как ты смел, после стольких лет вдруг свалиться как не знаю что на мою голову...), и никто из них не хотел видеть его с ребенком.

Верные друзья – цирковые оркестранты – помогли. Мы жили втайне от начальства (которое, разумеется, все знало, но делало вид, что ни сном ни духом) в оркестровом гнезде.

Там спали, ели, чистили зубы, готовили еду с кипятильником, я делала уроки, перед сном играли в морской бой, стучали в тарелки и треугольники. Носили музыкантам ноты, перелистывали их, старались не высовываться во время представлений.

Не помню, сколько мы там жили, может месяц, может два.

Очень скоро научились мыть голову в раковине и сушить ее как феном сушилкой для рук, засыпать под любой грохот, и как-то мы прижились.

Впрочем, жизнь тогда казалась бредовым сном, возвращаешься из школы домой, а дома – цирк, в прямом смысле, круглыми сутками. То репетиции, то представления.

Кончилось все тем, что дядю простили. Он вернулся в джигитовку, в общагу. Бабы тоже стали проситься назад – ну прости

меня, прости, ну чего ты, ты же добрый, ты всегда прощаешь... Мама вылечилась, и ее выписали, и она забрала меня.

А я решила не выдавать его тайны, чтобы он для всех оставался человеком-праздником. Это у вас Дед Мороз умер, а у нас в квартире – газ! И поэтому я радостно смеялась его шуткам и байкам, которые за жизнь в оркестровой яме успела выучить настолько хорошо, что могла сама исполнять на бис. Я кричала, как здорово мы жили все это время с дядей. И врала родителям, какой он любимый и прекрасный. (А может, и не врала?)

Дядя молчал и улыбался виновато.

Мама, вернувшись из больницы, накрыла стол, и мы сели угощаться. Но дяди не было, он вышел во двор, вроде как за квасом. Нет и нет его... Наконец мама послала меня за ним. Выхожу, а он стоит и курит нервно, и слеза на щеке.

Дома не построил, деревья не посадил, да и дети разбрелись по всему свету, отца толком не знают...

Он стоял и курил, а я стояла за ним и не понимала, что делать...

Действительно – что?

Когда он умер (а это было ранней весной, земля еще мерзлая), очень много народа пришло... Женщины и дети его, и музыканты те, и старенькие цирковые артисты – все друзья его. Женщины плакали, дети спрашивали, где папа.

Музыканты курили, артисты курили, женщины курили, мы курили, дети просились по-маленькому.

Могильщики копали. А потом оказалось, что закопали не там, на чужом участке. А наш – совсем другой. Перепутали с однофамильцем. Ошибка вышла. Могильщики потребовали еще денег. Чтобы не спорить, не торговаться – вроде и не время и не место, – пришлось дать, сколько просили.

А скандал все равно завязался. Там, где деньги, там всегда...

Мама плакала: даже уйти по-хорошему не ушел! Вечно надо шутки свои шутить!

Вечером я зашла в его дом поискать коробку с записями, нашла только кучу пепла, голоса были уничтожены. Сам ли сжег, или случайно вышло, не знаю.

Обрывок того письма, самого главного, про красное платье, сохранился, он у меня до сих пор есть, только я никому его и никогда

не покажу. Пусть ничьи глаза не видят эти строчки, если глаза моего дяди не видят их...

И не важно все это – про дом, дерево и сына...

Он был собой. Это самое главное. Он все-таки был праздником. И дом его был домом, даже если это не дом вовсе, скажете, а цирк!

1989

Вот бы сбежать в Алма-Ату 1989 года. Самый счастливый год в моей жизни, самое счастливое место моей жизни.

Да и остаться там навсегда.

Особенно нравился вечер, когда был концерт группы «Кино». И когда Цой заходил в наш цирк и общался с Марусей, дядиной кобылой.

Еще хочу посидеть в блинной у парка, не помню, как называлась. Там работала тетя Танк, в миру Ангелина Ардовна, она часто была подшофе.

Однажды на спор накрыла на своей груди «полянку»: салаты, фужеры, вино и мороженое в металлических чашках.

Да, это была самая огромная грудь в моей жизни.

Ангелина как-то поспорила с Нюркой Рыжей, высоченной бабенцией, бывшей проституткой (она, кстати, умела держать на носу лампочку, ставила себе на нос, и та мгновенно загоралась, и не гасла, и не падала). У Нюрки не получилось полностью накрыть полянку. Салатики не поместились.

Грудь торчала во все стороны. Упругие, как молодые поросятки. Такие же теплые и розовые.

А весь этот спор, вся эта грудная дуэль была из-за местного сердцееда, одноглазого Виктора Борисыча, бывшего летчика, который крутил то с одной, то с другой. И никак не мог определиться. Все смотрели на дуэль и восхищались. Страсти кипели.

И я тоже смотрела и восхищалась. Мне было десять лет.

А мужчины цокали языками, мол, какие красавицы. Это была единственная грудная дуэль в моей жизни.

А еще однажды нам с дядей Маратом пришлось ночевать в зоопарке. (Это был очередной случай, когда дядю выгнали из циркового общежития за пьянку и меня вместе с ним.)

И вот в ту ночь слону и слонихе захотелось любви.

Это как если бы два грузовика приласкали друг друга. Ну, или две горы...

Столько нежности и страсти я никогда больше не видела.

У слонов после любви были огромные влажные глаза, они сияли, они светились.

И голоса у них были сначала трубные, а потом бархатные. Слоны шептались, если про слонов можно так сказать – «шептались».

Гора ласкала гору теплым хоботом, гладила по уставшему хребту. А вокруг сырая осень и скоро зима.

А еще помню сумасшедшую девушку, бывшую манекенщицу, с обожженным лицом (мечь какого-то ревнивца).

Ранними утрами в течение всего года она голая купалась в озере, недалеко от Космостанции. Волосы ее текли по телу, золотые и тонкие.

Она плыла в ледяной воде и пела...

И зимой, и летом, плыла и пела...

Где жила, не понимаю, появлялась из воздуха, а потом исчезала в воздух.

Аквалангисты падали в обморок, встречая ее на глубине.

А еще, в тот же год, у нас помирала княжна Давлиани (кажется, так ее фамилия, мы несколько месяцев жили у нее). Она была старше самой революции.

Она в то время несчастно и безответно любила сантехника Федьку, того самого, который организовывал в Алма-Ате сборища уфологов. Искал контакты с инопланетным разумом, крутил какой-то агрегат и все ждал, когда же ответят.

И вот так и получалось, сантехник не звонил княжне, инопланетяне не звонили сантехнику.

У княжны падало давление, повышались сахара, она принималась помирать. А помирала она настолько скучно, нудно и убийственно утомительно, что мы с дядей сами были готовы полюбить ее вместо сантехника, лишь бы она перестала умирать.

Но нашей любви она не хотела. И продолжала заламывать руки и бледно глядеть в окно.

– Дядя, я застрелюсь, если она не прекратит, – шепнула я дяде.

И тогда он стал звонить княжне и молчать в трубку. А потом, слушая удивленную княжну, сетовал, мол, сантехник все не может решиться, он волнуется, он не находит слов, он как трепетная лань. Да, такая сантехническая, уфологическая трепетная лань.

Княжна была удовлетворена, трогательное молчание влюбленного сантехника утешило ее, и она перестала умирать и еще дней тридцать

не делала этого.

А однажды дядя напился и перепутал. И вместо княжны набрал номер Федькиного агрегата. Федька обрадовался: ура! Марсиане!

Федька стал нести какую-то торжественную чушь: вас приветствует гражданин СССР, вы звоните в Алма-Ату, у нас тут житница и здравница, мы социалистическая республика и прочее.

Дядя оторопело молчал в трубку, а потом ее повесил.

Ну а что он мог сказать на такое?

Федька потом радостно кричал на всех перекрестках, что ему, наконец, ДА, позвонили!

Он потом ждал звонков, как дети Снегурочку с Дедом Морозом.

А когда инопланетяне не звонили, Федька пил и болел. А когда он пил и болел, княжна начинала умирать. Потому что любила его. А когда она умирала, я от тоски и скуки била камнями витрины в соседних магазинах, а дядя хватался за сердце, с ужасом представляя, что было бы, если бы меня поймали все-таки и упекли бы в колонию.

А потом, надержавшись сердца, дядя как подорванный бросался к телефону и звонил то княжне, то Федьке, и телефонистка с почты думала, что мой опекун свихнулся, потому что он каждый божий день звонит куда-то и молчит.

А Федька, вместо того чтобы слушать космическое молчание дяди, все время что-то рассказывал – то о человечестве, то о цивилизации, то об удоях и яйценоскости. Он азбуку нам читал, потому что думал, что мы, инопланетяне, хотим выучить человеческий язык. (Ага, еще бы!)

А однажды он стал рассуждать о своих знакомых и сказал между делом, что мой дядя – бабник и пьяница горчайший и что его цирковые достижения – полная мурня.

И вот тогда дядя бросил трубку и перестал звонить.

И мы стремительно ушли от княжны.

Княжна некоторое время поумирала и потом влюбилась в энтомолога. И собирала с ним всяких жуков, жуки ели княжну, она была вся покусанная, но счастливая.

А Федька поныл, попил, но вскоре на него снизошло, и он открыл в себе дар общаться с духами умерших. Поселился на кладбище и доставал покойников своими торжественными речами. Но, видимо, он

довел и их, потому что однажды ночью он сбежал оттуда, весь в синяках и ссадинах.

Мистики в Алма-Ате долго еще говорили об этом случае.

А сторож кладбищенский завел себе новую метлу, потому что прежнюю он сломал об Федьку, когда выгонял его с обители для усопших. Но говорить про это было нельзя, потому что мистики и Федька обижались и кричали, что это чушь! Что контакт с потусторонним миром все-таки был установлен! И все такое в таком духе.

Там еще много чего было в моем любимом 1989-м.

И много еще чего там остается.

Вот только меня там нет.

А жаль.

Вот бы сбежать туда, навсегда!

Обломки настоящей Берлинской стены

Это случилось пару лет тому назад, когда в Алма-Ате умер мой дядя – цирковой артист. Я прилетела из Санкт-Петербурга на похороны. Печальные клоуны – его друзья – встретили меня.

После поминок выяснилось, что единственное мое наследство – это старенький чемодан с НАСТОЯЩИМИ ОБЛОМКАМИ НАСТОЯЩЕЙ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ.

Дело в том, что, когда она рухнула, в том самом месте были друзья моего дяди. Они, зная, как он любит всякий хлам и отходы, ой, то есть исторические ценности, набили этим строительным мусором, то есть ценностями, мешок и подарили ему.

Дядя был счастлив. Он одаривал этими роскошными камнями и кирпичами всех встречных и поперечных. Те радостно улыбались и втихомолку выбрасывали сокровища в ближайшую урну. А некоторые нежно и тепло берегли.

Однажды, помню, мы с дядей на лошади Тамаре мчались по улице, нас тормознули гаишники за превышение скорости или недостаток лошадиных сил – точно не скажу. Дядя умудрился расплатиться с ними камнями и билетами на вечернее представление.

По-моему, все гаишники, которые только водились тогда в Алма-Ате, побывали на нашем представлении.

А еще эти камни с удовольствием брала одна из его бесконечных САМЫХ любимых женщин, художница по специальности. Она делала из них инсталляции и какие-то композиции. Они расходились среди туристов как горячие пирожки. Это помогло ей вылезти из долгов и отремонтировать свое старенькое жилище.

А ещё был дяденька, который эти камни грел, а потом ими, нагретыми, лечился, когда у него спина болела. Мы, конечно, ругали его за самолечение, но дядька утверждал, что только эти камни, НАСТОЯЩИЕ ОБЛОМКИ НАСТОЯЩЕЙ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ, его и спасают.

Тем не менее сокровищ оставалось еще очень много, и мой дядя спрятал их в свой старенький чемодан, время от времени доставал их оттуда и дарил. Так мы и жили.

И вот, многие годы спустя, когда я стала большая и взрослая, он умер. И вот сижу я в аэропорту, рыдаю, в руках мокнет билет на рейс до Питера, а у ног стоит тот самый чемодан.

Таможенники заглянули в него и спросили:

– Это что такое?

– Наследство, – грустно вздохнула я.

– В смысле? – не поняли таможенники.

– Это НАСТОЯЩИЕ ОБЛОМКИ НАСТОЯЩЕЙ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ, – ответила я.

– Фигассе! Быть такого не может, – сказали они и стали работать.

Они проверили эти камни-обломки рентгеном, но ничего не нашли – ни драгоценных камней, ни золота. Потом они дали понюхать их собачке, которая наркотики в аэропортах ищет. Собачка понюхала, взглянула с грустью на таможенников – мол, вы что, меня за дуру держите? – и, брезгливо покрутив носом, отошла.

Камни били, кололи, сверлили. Самолет мой давно улетел, да и не до него мне было. Я сидела на лавочке и думала о дяде, о наших общих историях, о том, «как молоды мы были, как искренне любили»...

Ко мне подошел один из сотрудников таможни и предупредил:

– Мы решили пилить ваши камни.

– Пилите, Шура, пилите. Только они не золотые, – кивнула я.

Их распилили. Нашли в камнях середину камней. Тяжело вздохнули и положили обратно в теперь уже мой чемодан.

Вызвали специалиста, такого очень специального специалиста. Он внимательно их осмотрел и стал чесать репу, имеют ли эти камни историческую ценность. Чесание репы ничего не дало, кроме того что репа стала болеть. Так ведь сколько раз твердили миру: если вас беспокоит Гондурас, не чешите его, а то вспухнет!

Так вот, позвонил этот специалист в немецкое посольство:

– Вам НАСТОЯЩИЕ ОБЛОМКИ НАСТОЯЩЕЙ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ не нужны?

На том конце провода ойкнули, икнули и вздрогнули. А после ответили:

– У нас этого гуталину!.. Короче, не нужны.

Мне вернули чемодан с камнями и отправили в Питер. Рейсов в тот день уже не было, только один с какими-то спортсменами, которые

летели в питерский холод с рапирами наперевес, защищать ум, честь и совесть нашей эпохи.

Мне решили выписать билет взамен утраченного. Разговор в кассе:

– Так ей какой рейс выписывать?

– Ну давай вот этот, – называет какие-то буквы и цифры.

– Так такого рейса в природе не существует!

– А что теперь с ней делать? Я вот, например, думал, что таких дур не существует! Подумать только, тащить такой хлам через всю страну! Нет, она точно больная...

И все-таки я кое-кого одарила этими волшебными камнями. Иначе не могла! Ведь когда открыла чемоданчик с наследством, то первое, что обнаружила, это записку, дядиной рукой написанную: «Ничего себе не оставляй, раздари все!»

Пару камней я подарила «специальному специалисту», который бился над их исторической ценностью. Он, как сообщник в преступном деле, подмигнул мне, мол, я-то все понимаю, они действительно золотые!

«Ага!» – подумалось мне.

В Питере в аэропорту у меня какие-то люди пытались стырить чемодан, подняли с земли, охнули, опустили назад, на планету.

– Это чего у тебя? Камни? Кирпичи?

– Да! – честно ответила я. Открыла, показала, и у них отвисли челюсти.

– Ты дура, да?

После в Питере я тоже раздаривала свои сокровища. И они каким-то непостижимым для всех образом делали их владельцев счастливыми. Одна моя приятельница взяла булыжник, нацепила на него сермяжную веревку и стала носить как украшение.

– Вот с брульянтами все ходят, с бижутерией там, а с булыжником только я. Круто, да?

Немудрено, что с ней, дамой с булыжником на шее, практически тут же познакомился потрясающий парень – как оказалось, любовь на всю жизнь. Он думал, что она топиться пошла, а она нет, просто

погулять вышла. Счастье огромное, двое детей. Еще один товарищ шел с этим обломком кирпича и нашел себе пару, даму сердца. Она по улице шла, у нее каблук сломался, ну так он и подошел и замахнулся на Вильяма нашего Шекспира. Постучал пару раз – и туфелька цела. А дальше дело нехитрое. Один классный парень с помощью этой хрени нашел себе тему для диплома, сдал на отлично. Еще один нашел работу. Пришел в рекламное агентство, креативить, положил его на стол и стал рассказывать, как он намерен продавать это добро. Кстати, пару камней мы потом подарили сотрудникам этой конторы. Они купить пытались, так нет же! Дядя сказал раздарить – значит раздарить.

Был случай, когда благодаря этой фигне помирились муж и жена, которые уже разводиться решили. Муж приволок камень домой.

Жена воскликнула:

– Это еще что за хлам?

– Куросава подарила! Это **НАСТОЯЩИЙ ОБЛОМОК НАСТОЯЩЕЙ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ!**

– Ой, а ты знаешь, я ведь однажды бывала в Берлине.

– Расскажи! Никогда не слышал.

Они сели и поговорили. А потом еще посидели и поговорили. И еще. И снова. И вдруг поняли, что зря они разводятся, что им хорошо вместе.

И еще одна девочка взяла это на память и теперь использует в качестве утяжелителя для прыжков с парашютом. Ни одной травмы! И новичкам дает как талисман, чтобы не боялись...

А еще я подарила несколько этих камней одной маленькой девочке. Родители сначала ругались: что ты такое даришь, у нее же астма и прочее. Аллергия, там, на пыль. Так мы с малышкой вымыли камни с мылом от пыли, взяли краски, и она стала расписывать их. Красота-то какая! Папа-мама сразу поняли, что у нее талант, сами камни собирать начали, вместе с дочкой, на берегу Финского залива. Дочку, кстати, в художку отдали, и чувствует она теперь себя гораздо лучше. Раньше все время дома сидела, а теперь каждый выходной – на Финский.

И многое-многое другое хорошее случилось благодаря этим камням. Я сегодня последний подарила, одной девушке, которая плакала, потому что ее мальчик не любит. Подарила и рассказала, что,

чего и к чему, она перестала плакать, а камень в сумку положила. Вот и ушло мое наследство. И хорошо. А чемодан – знакомым клоунам. Говорят, отличный, старенький, года 1933-го, наверное. Полмира прошедший, войну мировую и славу цирковую повидавший, им он кстати, чтобы равнялись на крепость его. Старенький, а еще в ряду, не ломается, не рушится.

У кого-то есть время разбрасывать камни, у кого-то собирать, а у меня было время раздаривать их, а сейчас буду вспоминать камни. И их истории.

Грустно немного. И жаль, что все так быстро кончилось. Одна моя подруга позвонила, говорит, что мне надо бы написать серию рассказов про судьбы каменные, ведь у каждого камня своя судьба.

А еще я прочитала в Интернете, что на самом деле стена была не из камней, а из бетонных блоков, получается, что надули моего дядю. Или нет?

Впрочем, уже неважно.

Главное уже случилось. И продолжает случаться.

И все такое прочее...

Они ели из его ладоней

Сегодня я шла по улице, а мимо меня пробежал какой-то невысокий мужчина в черной шляпе, как у моего дяди. Дядя Марат любил моря, пустыню Каракумы, обожал Прибалтику и бесконечные просторы России. Работал в цирке, был прекрасным джигитом, делал трюки на конях, лошади ели из его ладоней, женщины не сводили с него глаз, дети мечтали быть похожими на него.

Он всегда улыбался, такой грустной и светлой улыбкой. Он ненавидел уколы и манную кашу и обожал, когда белый говорящий попугай сидел у него на плече. У нас часто бывали гости и часто оставались ночевать, повернуться в нашей комнате было негде, и мне приходилось спать на сундуке с реквизитом, обнимая его кинжалы и шпаги...

Однажды его выгнали из цирковой общаги за пьянство. А все болтали, что из-за ревности, потому как жена одного из цирковых начальников положила на него глаз.

Но друзья не бросили нас. И нам выделили место в оркестровом гнезде. Впрочем, про это я уже рассказывала.

Нас вскоре вернули назад в общагу, наверное потому, что я слишком часто роняла учебники и тетрадки на тигров и клоунов вниз и срывала тем самым номера. А еще, наверное, потому, что дядины постиранные штаны висели и сушились по всему оркестровому гнезду. А еще дядя невероятно храпел. Так, что заглушить этот храм был бессилён даже оркестр.

Мой дядя любил женщин, и они его любили. Когда он умер, они прилетели на кладбище – печальные птицы с его детьми. И те, что при его жизни не могли его поделить, теперь сроднились и смирились, стояли печальные, утирая друг другу слезы. А его детей выделяли черные кудри, которые частенько бывали в нашем роду, – мелькнут у кого-нибудь, непокорные и вздорные, и исчезнут.

Красота – она такая: мелькает, как лунные блики на озере в сумеречное время.

Однажды в Душанбе нас ограбили, какие-то сволочи отняли наш чемодан, в котором было всё: и обувь, и одежда, и деньги, и

документы. Это было еще во времена СССР, на самом краю, в перестройку. И после этого мы шатались по улицам босиком, он показывал фокусы на рынке, а я собирала дань со зрителей в его неубиваемую черную шляпу.

А потом мы купили арбуз и ели его руками у какого-то фонтана. Это было ещё в те дни, когда в Таджикистане никто и не думал, что когда-нибудь здесь будет война.

Мой дядя всегда смеялся, шутил, любил выпить, любил танцевать, любил плавать, любил шататься по барханам, любил степь, любил упасть лицом в ковыль и слушать голоса птиц, любил горы, их прохладу и пропасти.

Любил, любил, любил, любил...

Любил дарить – щедро швырял свои дурацкие богатства всем встречным-поперечным.

Обломки настоящей Берлинской стены, камни с берегов всех морей, на которых он бывал, тельняшка с Тихого океана, где он служил.

– Ты представляешь, Тихий океан – это столько воды! Когда я увидел, я просто в обморок грохнулся: после наших пустынных степей столько воды!

Тонкие перья павлинов, яркие татарские серьги, бесконечная россыпь прибалтийского янтаря, рука манекена, найденная на Красной площади, карты старинные, на арабском языке, справочник телефонный на китайском и всякая другая дребедень.

Он любил собирать хлам и дарить его всем, кому этот хлам понравится.

Он легко получал вещи и легко расставался с ними. Легко добивался женщин и легко уходил от них. И все-таки у него была одна, которая навсегда. Тайная дева, чье имя никогда не будет открыто. В память о ней осталась только прядь светлых волос в медальоне на груди...

Помню, всегда буду помнить, как мы лихо и счастливо мчались автостопом из Таджикистана домой. На разных машинах, даже на телегах и пешком. Один раз нам пришлось ехать среди каких-то кур, они кудахтали, сустились и клевались. Куры – злобные и жестокие. Больно клевались, да.

Мы были счастливы, купались и загорали, дурачились и сходили с ума. Больше никогда ни с кем мне не было так весело и легко. Смешно и радостно.

Он баловался, как ребенок, ей-богу.

Черные кудри постепенно серебрила старость, горящие глаза тускнели.

Его знали все – стоило нам выйти на улицу, как тут же его окружали друзья, знакомые, которых он порой толком и не помнил. Но это не мешало ему по первой просьбе, по первому звонку лететь на помощь, если надо – к кому-то, куда-то, зачем-то.

И все же какая-то трещинка проходила по его сердцу, там, где в медальоне хранилась эта светлая прядь.

Он любил – и его любили. Он отзывался – и на его зов шли. Он старался сделать счастливыми тех, кто рядом, и это у него получалось легко: одной его улыбки было достаточно. Но... вот только эта светлая прядь, память о чем-то, о ком-то, что-то, мне неизвестное...

Трещинка на всю жизнь. Такое бывает. Вроде все хорошо, и день как день, а нет, не то все это. И ты не ты, и жизнь тебе не жизнь, а все потому что...

К нему тянулись, липли. Шли с бедой и горем, со счастьем и отчаянием. Он всех утешал, давал надежду, все чужое хранил у сердца, сам не имея и толики покоя. Я-то знаю, я помню, как тяжело вздыхал ночами самый счастливый человек на земле, тот, кому завидовали все люди в городе. Я-то слышала это, видела, как долго-долго он курит, задумчивый и сбитый с толку, как ребенок, которого мама потеряла в пустыне, в темноте, и никогда не найдет.

Однажды, когда я получила в первый раз в жизни двойку в школе, а потом в тот же день подралась с одноклассниками, я приползла домой в соплях, слезах, синяках и жутком горе. Я рыдала, как все женщины из бразильских сериалов, вместе взятые. И что, вы думаете, сделал мой дядя?

Он торжественно сжег мой прекрасный дневник и устроил для меня праздник. Учись держать удар!

У него был приятель, сторож в луна-парке, и они ночью включили для меня все аттракционы, и все это было только моим. Качели, карусели и прочее. Вы когда-нибудь ночевали в чертовом колесе? Хоть

разок? Я – да. Нет ничего лучше, поверьте мне! Ты спишь, а оно крутится, крутится...

В ту ночь я объелась сахарной ватой, и мне было классно. Поэтому, наверное, следующие драки, двойки и прочие огорчения моей жизни были не так страшны.

А ещё я боялась учителя по математике, настолько, что при его виде задыхалась от ужаса. И что придумал мой любимый дядя?

– Представь себе, что он мелкий, как гном, а разве ты боишься гномов? Нет же! Так вот, берешь мысленно его за шкурку и сажаешь вот в эту банку, а банку – под кровать. Разве ты боишься гнома, который не может вылезти из банки?

Так что у нас под кроватью и на подоконнике, на столе и под столом, на раскладушке и под нею было полно банок, потому что боялась я не только учителя по математике. Но никогда больше я не умирала от ужаса. А когда дядя приходил за мной в школу, у него всегда с собой была запасная банка.

Для меня, чтобы я стала смелой.

Моя маленькая ладошка в его большой ладони...

Счастье будет всегда-всегда...

Однажды мы с дядей (для тех, кто не знает, он был очень посредственным цирковым артистом, делал трюки на лошадях, джигитовку) шатались по Казахстану, ездили куда-то, по селам-аулам, дядя и его друзья давали дешевенькое представление, немного гимнастических номеров, фокусы и пантомима. Мы таким образом зарабатывали малую копейчку и были довольны.

Была зима, скоро Новый год, и казалось, что счастье будет всегда-всегда.

И вот однажды мы набрали на какой-то брошенный лагерь, бывший лагерь, тот самый.

Машина сломалась. Мы развели костер. Уже темнело.

Дядя ломал доски в барачной постройке, на костер.

Прямо на стене в бараке были надписи. Вошла, стала читать, светила фонариком. Там были имена, фамилии, даты, молитвы на разных языках, какие-то проклятия, матерщина. Кто-то рисовал кого-то. Глаза, губы, уши торчат смешные.

Позывные с того света. Позывные о жизни и о смерти. Мне теперь часто снятся те надписи. Часто-часто.

– Не ломайте, пожалуйста, – сказал мужской голос. Он прозвучал откуда-то со стороны. Мы обернулись. Перед нами стоял пожилой человек, глубокий старик. Мне было десять лет, шел 89-й год. Помню отчетливо этого человека.

– Здесь был барак. Здесь были мы.

– Вы здесь жили? – я брякнула детскую глупость.

– Мы здесь умирали.

– Простите, – сказал дядя. И перестал ломать.

– А как же мы? Мы ведь замерзнем, нам негде ночевать. Машина сломалась, и куда же мы денемся? С нами ребенок, – возразил дядя Юра, наш друг.

– Вы можете побыть эту ночь у меня. Я живу недалеко, – ответил старик.

Мы сделали факел. Мы шли через эту бесконечную ночь.

– А чем вы там занимались, до лагеря? – я донимала старика. Дядя шикнул на меня, мол, замолчи, что ты несешь! Я испугалась и замолчала.

– Я был актером. Знаешь, кого я играл? Гамлета!

– Ну и что! Гамлет в соседнем доме живет! Он мои ботинки чинил. Его все знают. Чего там играть, – вздохнула я разочарованно.

– Я играл другого Гамлета. Быть или не быть... вот в чем вопрос.

Старик говорил тихо-тихо. Его седые волосы светились в лунном сиянии. Снег кружился, падал на плечи...

– Быть или не быть.

Не было крика, не было ора, был только шепот. Тяжелый, раздумчивый. И вся жизнь в этих словах... Все ее тяготы и трудности, итог, все-таки быть...

Быть или не быть. Но меня до сих пор качает... даже не могу сказать... не могу успокоиться. Просто помнится... Волнует меня все это.

Представила: какой-то крохотный провинциальный театрик. На сцене – молодой актер. И этому человеку всего ничего лет...

А теперь он глубокий старик, и жизнь прошла, а на что ее потратил?..

– А хочешь, куклу подарю?

– Ага.

Он достал из карманов какой-то листок бумаги. Сложил из нее смешного человечка. И носовой платок дал. Будешь заворачивать, баюкать.

– А как мы назовем его?

– Леша!

– А что он любит есть?

– Жареную картошку!

Игра началась... Актер всегда остается актером. А игры никогда не кончаются...

История про греков

Это случилось в маленьком поселке, когда мне было лет восемь-девять. Помню отчетливо двух пожилых людей, Софию и ее мужа Михаила. Они были греки. Воспитывали внука, маленького Лешку, моего ровесника. Лешка Георгиади очень гордился тем, что он грек. Показывал мне журналы и книги с античными статуями и храмами и восхищался: «Это мы построили! А что римляне? Римляне позже появились».

Я смотрела на сходство античных профилей с профилями моих соседей и думала: «Надо же! Значит, и правда из тех времен происходят! Вон носы какие! С горбинками! – Печально трогала свою кнопку и грустила: – Ну зачем я не грек!»

Античные храмы и степь бескрайняя вокруг, только линия горизонта как линия жизни.

Греки.

Белые стены чистого дома, руки в морщинках от тяжелого труда. Молчание и глубокое погружение в земельные дела.

– Говорят, что когда их переселяли к нам, в вагонах, это еще ТОГДА было, очень много греков померло, их тела прямо из поезда в степь бросали. Грызли степные волки греческие кости. Вечная память. Светлый покой. Сильные люди, мужественные, никогда не сдаются, – моя бабушка шепотом рассказывала про соседей. – Ты с ними водись, может, и тебе от них достанется силы и смелости. В жизни такое всегда надо.

Греки сажали сады, виноградники, строили беседки, месили руками глину, пекли хлеб. И всё молча, без лишних слов. Солнце встало – значит, пора работать, солнце село – значит, пора отдыхать. Молча.

А во дворе у них стояли жернова, два каменных круга. И ослик крохотный, старенький, он все ходил по кругу, набил колею, тянул шею, молол муку.

София, седенькая и горбатая от старости, тщательно отбирала зерна пшеницы.

Все знали, что у греков самая лучшая мука в поселке.

И фрукты самые лучшие, и цветы. И виноград!

А ведь вокруг только каменная степь, только пыль да полынь, и вода здесь жесткая. И ни у кого ничего не растет! Только у греков!

А греки покрывали свои саженцы тканями, чтобы от пыли сберечь, укутывали каждое яблоко марлей, как ребенка. И все молча, без лишних слов.

Тщательно, долго, погружаясь в мысли, в тишину, вспоминая нечто, что нам не понять. Какие лица они видели в своих грезах, чьи ушедшие голоса слышали?

Грызли степные волки греческие кости...

И только иногда бросят друг другу неизвестное мне гортанное слово.

Морщинки на руках, морщинки у глаз.

Солнце встало, значит, пора работать. Солнце село, значит, можно отдохнуть...

Жить просто. Жить трудно. Быть живым – больно.

Говорили, что они навечно к нам выселены, что никогда им отсюда не уехать домой. И что дома у них берег моря, и что там горы и острова. Как в кино.

А вокруг степь, только линия горизонта как линия жизни. Не прерывается никак, кажется бесконечной и вдруг обрывается, когда сумерки и ночь.

Жизнь всегда такая, кажется бесконечной, и вдруг ночь.

Моя бабушка (крымская татарка) говорила, что и правда, крымские греки на берегу Черного моря жили, она и сама там когда-то жила. И видела их свободными людьми, еще до войны, когда сама была маленькой.

По-настоящему свободными людьми.

Она говорила, а соседи цокали языками. Надо же как! Жить у моря! Нам и не представить такое.

Маленький ослик все ходил по кругу, молол муку. Упорный и уставший, все по старому кругу.

Старик Михаил носил мешки, София отбирала зерна. Солнце было высоко, наше жаркое, безжалостное солнце. Оно никогда никому не дает покоя. Вытягивает соки.

Лешка сказал мне как-то по секрету, что однажды они вернутся домой, туда, где Крым! Туда, где море и берега! Это ведь их земля, это

они все там построили! Только осталось ждать, когда будет можно.

Прошло несколько лет, и греки уехали. Туда, куда рвались всем сердцем. Это был 1991 год. Лешка собрал все свои книги, вещи, греки прощались с нами. Они накрыли стол, щедрый и богатый. Они, те, что сэкономили каждый грош, в тот прощальный вечер чувствовали себя самыми счастливыми, самыми роскошными миллионерами на земле.

У них было нечто большее, чем деньги! И большее, чем роскошь!

Они уезжали домой.

Туда, где Крым.

Вот что у них было! Это дорогого стоит!

Особенно если мечтал вернуться домой всю жизнь.

Они быстро продали свой домик, свой садик и ослика.

София наказывала ослику по-доброму служить новым хозяевам и не упираться. Она просила прощения, что не берет его с собой: «Жаль, что в поезд тебя не пустят. А нам еще с поезда потом на самолет».

Ослик молчал, он все понимал, он был как грек, мудрый и молчаливый. Никаких лишних жестов и слов.

Греки уехали.

Лешка оставил мне на память одну свою фотку, с гордым профилем, и ракушку, которая долгие годы была единственным напоминанием о Крыме для его семьи. Долгие годы ожидания. Долгая дорога домой.

Ослик, кажется, привык к новому дому и хозяевам.

Но однажды...

Однажды...

Солнце встало, значит, пора работать.

Он вышел из стойла и встал в старенькую колею. И уже жерновов нет, и молот не надо зерен, и никто не запрягает. А он встал и принялся ходить по кругу, так, как учила его София. Как привык за долгие годы службы и жизни в родном доме. Только не понять ему было, ослику (ослик он всегда просто ослик, все-таки он не мудрый грек), что дома уже нет и его любимая София уже давно далеко от него.

И он ходил по кругу, долго-долго, пока солнце не закатилось и не стало ясно, что теперь-то можно отдыхать.

И никто не посмел остановить его в этой работе. Потому что ослик все-таки немножко грек и, самое главное, настоящий верный

друг, который грустит и не забывает своих родных и близких.

Королевы в изгнании

У моей бабушки была троюродная сестра – Мадина. Она была такая древняя старуха, наверное, старше самой Вечности.

Мадина казалась мне тощей, скучной и вредной. Она шпыняла меня день-деньской и вечно требовала что-то. И самое главное требование у нее было – будь татаркой! Папа ругался с ней: «Ну какая же она татарка, если в ней татарской крови кот заплакал?» А Мадина твердила свое. Быть татаркой, по ее мнению, значило – быть отличницей, самой красивой и элегантной, не давать спуску обидчикам, знать татарский язык, историю, литературу, учиться лучше всех, знать больше всех, быть смелее всех, трудолюбивее, никогда не опаздывать, не грызть ногти, не танцевать на дискотеках, не смотреть эти идиотские фильмы, не петь песни «Ласкового мая», не любить Цоя, не таскать домой бездомных кошек, не дружить с дурными детьми, не лазить на крышу, не жечь костры, не ни не ни не ни...

Если бы Мэри Поппинс не была англичанкой, она была бы татаркой.

Своих детей у Мадины не было, но зато была я. И она меня мучила. Она била меня по губам, если я нарочно коверкала татарские слова, она стегала меня линейкой по спине, а я назло сутулилась. Я из вредности ела плов руками, как казахи, а не ложечкой! Мечтая довести ее до инфаркта, я выучила и распевала «Красную плесень». И, как казахи, пила из пиалы, а не из кружечки.

Но Мадина была неумоима, жестока в воспитании меня.

Она каждый день рассказывала мне, как нас, татар, насильно выселили из Крыма, как навсегда пропал без вести ее сын, единственный и родной, как потом она годами его искала и узнала, что он погиб. И о своем муже, который был учителем в школе, о его белом попугае, о том, как они с мужем любили друг друга, он похоронен там, в Крыму, он умер во время войны.

Она твердила мне все это, и еще то, как прекрасен Крым, который украли у нас, у татар, и мы обязательно туда вернемся, и там снова будет звучать татарская речь на улицах.

Я пропускала слова мимо ушей, я старательно отвлекалась, но ее истории все равно увлекали меня...Особенно о том, каким был Крым до войны, белые дома, волшебное море, чудесные можжевельники, Меганом, Бахчисарай.

Она подробно описывала улицы, дома, нравы, людей, она показывала мне чудом сохранившиеся фотографические карточки с дореволюционным Крымом, шампанское и дамы в шляпках, тоненькие перчаточки, кружевные зонтики от солнца. Она знала все это от своих старших братьев, которые жили в те годы и рассказывали ей.

Она вспоминала про какого-то музыканта по фамилии Финкельсон, он так здорово играл на рояле, что купцы заезжие, ценившие музыку, вы`купали Финкельсона и его рояль в шампанском. Финкельсон плакал, потому что он понимал, что этот изумительный инструмент испорчен.

Но больше всего меня увлекали ее рассказы о цыганах, которые кочевали по Крыму, об их шатрах и женщинах с потрясающими голосами, она пела мне их романсы. Мадина была все-таки упрямой женщиной, и Крым, ее Крым, вскоре стал и для меня мечтой. Море, которое помнит античность, как смелые греки покоряли его. Скалы, видевшие динозавров! И можжевельник. Он пахнет так, как пахнут цветы. Виноградники и сады. И самое лучшее в мире вино!

Шли 80-е, перестройка, дефицит, началась безработица. Но я ничего этого не замечала, ничего. Потому что у меня в голове был только Крым, где даже зима полна чудес.

У меня был рай на земле, и он назывался Крым. Это было то самое место, мое родное и просто мое, я чувствовала себя хозяйкой Крыма, его княгиней и властительницей, вот скоро я вернусь домой, в родной замок. Это здесь я никто, а там... Я считала себя королевой Крыма в изгнании. И старалась учиться лучше, просто на пределе своих возможностей. Ведь королева Крыма не может быть двоечницей!

Я взяла у Мадины пыльную кривую соломенную шляпку, она была кособокая, но меня это не смущало. Я стала ходить в ней в школу, у меня были тоненькие перчатки и вместо портфеля – саквояж, старинный и драный, а еще веер и пенсне. Мадина очень гордилась тем, что я ношу все это. В школе меня дразнили, а я бросала сквозь

пенсне презрительные взгляды на обидчиков, я научилась быть татаркой.

Мы с Мадinou умоляли папу, чтобы он позволил нам поехать в Крым, к нашему морю, к нашим чайкам. Мы смотрели в окна, на пустую степь вокруг и умоляли о Море. Папа говорил, что нет денег, что нет времени, что Мадина не выдержит поездки, у нее сердце, что это не наш дом, это не наша родина, пора забыть! Мы не живем там уже почти 40 лет. Даже больше. Это не наш рай.

Мадина, услышав последние фразы, о том, что это не наша родина и так далее, потеряла сознание, мы вызвали скорую.

У Мадины случился сердечный приступ, она долго-долго лежала потом в больнице. А когда выписалась, сказала отцу, что он предатель и что она ненавидит его и больше не намерена жить с нами. Лучше она умрет в доме престарелых, чем останется с такими родственниками.

Папа просил прощения, умолял не уходить от нас. Мама с ужасом шептала, что это позор, если она уйдет в такой дом. Тогда я стала кричать: «Я татарка! Я татарка! Только не уходи, не оставляй нас! Расскажи еще о Крыме!»

Мы все-таки любили эту вредную старуху!

Я, кажется, знаю, кем была бы Шапокляк, если бы она была татаркой! И Мадина улыбнулась, и осталась, и простила.

Той зимой мы стали копить на поездку в Крым, мы решили поехать туда. Мадина ожила, она расцвела, она как будто стала моложе. Она стала подбирать гардероб и долго размышляла, в каком платье она пойдет на могилу мужа, ведь столько лет не виделись. Она все еще любила его, она всегда любила его и никого кроме.

Мадина не дожила до лета, возраст, сердце. Она умерла во сне, легко и спокойно. Она унесла с собой все, что не успела рассказать. Но главное она оставила, она оставила мне мой рай – Крым, никогда не виденный мной. Она оставила истории, никогда не слышанные никем больше, кроме меня.

Прошли годы, и я все-таки там оказалась. Крым долго не пускал меня в себя, я ходила босиком по его улицам и не верила, что это мое.

Королева в изгнании так и осталась в изгнании. А потом вдруг замочек щелкнул и дверца отворилась. Крым открылся мне и показал

свою душу, он меня признал. Мадина была права, Крым на самом деле мой дом и моя обетованная земля. Рай, украденный у меня...

Недавно мне позвонила Рита, немка по национальности, внучка ссыльных поволжских немцев. Живет в Германии. Она скопила денег на поездку себе и своему сыну. Да, они были там, откуда выселили ее дедушек и бабушек. И ее рай тоже долго не открывался и не принимал, а потом все-таки раскрыл свои сокровища перед ней и ее сыном.

- Ты знаешь, мы никогда там не состаримся!
- Ты знаешь, мы никогда не проведем там свое детство!
- Ты знаешь, мы никогда не будем там похоронены!
- Ты знаешь, мы проживем жизнь в других краях!
- Ты знаешь, наши сердца останутся там, где рай на земле!
- Ты знаешь, мы, кажется, нашли свои дома и земли...
- Ты знаешь, мы навсегда останемся королевами в изгнании...
- Ты знаешь...

Берегите свой рай на земле!

Мальчик все-таки поймал огромную рыбу

Снился Ояр. Старик из моей детской жизни. Мне было лет шесть-семь. Мы жили в крохотном поселке в Казахстане. Туда не ездят поезда, и трасса проходит очень далеко от нас. Мы навсегда потеряны в степи, среди молчания и пыли. Ояр был родом из Прибалтики. Из тех репрессированных прибалтов, которых ссылали к нам после войны. Наверное, эстонец или литовец. Не знаю. Не важно.

Срок прошел, а он так и не почувствовал, что освобожден. Так и остался. Нет, не прижился, просто вахту не мог оставить. Следил за бараками, в которых был лагерь, за кладбищем. А там – никаких имен, только цифры и буквы какие-то. Ничего больше. Он прокладывал дорожки, сажал цветы. Молился на каком-то своем языке. Не пускал нас, малышей, играть среди могил.

Мы, дети, дразнили его. А моя бабушка первый и единственный раз в жизни пригрозила, что накажет, если я буду со всеми кричать «Больной Ояр! Чокнутый!».

Ояр часто бывал у нас дома. Бабушка лечила его травами, говорила, что у него легкие сгнили от горя.

Она застывала перед ним с ладонями, полными птичьих перьев, и шептала: а теперь дуй, дыши, а сейчас повтори за мной шепотом. Давай попробуй, спой. Ояр пел непонятные нам песни, и перышки – совиные, фазаньи и другие – летали в воздухе.

Бабушка смотрела на него и молчала.

Нет, не любовь. Нет, не дружба. Нет.

Только нежная грусть в самом центре груди, тихая печаль, и вдруг такое притяжение, от которого так прохладно и горячо внутри. На краю жизни, на исходе ее.

Ояр показывал мне фотографию, я помню ее отчетливо – маленький мальчик с огромной рыбой, вокруг сосны. Меня еще удивило, как много деревьев... у нас такого и быть не может.

Я не знаю, наверное, это был его сын или брат, племянник? А может, он сам?

Мальчик поймал огромную рыбу, мальчик счастлив.
Сияет рыба на солнце.

А еще Ояр делал пуговицы из стекла и костей разных животных. Как-то из куриных косточек вырезал мне ожерелье. Тоненькое, белое. Пуговицы были невероятные, с узорами и орнаментами, с удивительными фигурками. У меня были такие на платье – крохотная лодочка, а внутри птица. Или еще – девочка со змеей в руках.

Ояр денег не брал, просто так дарил.

Он еще глаза делал. Для игрушек. Игрушки шил сам, собирал тряпье по дворам и шил – зайцев, тигров, медведей. И рыб, какие только в его краях водятся. И глаза пришивал.

А однажды мы с ребятами стали водой заливать норки сусликов, а когда зверьки всплывали, повязывали им на шею веревку и водили потом как собачку на поводке. Просто я в журнале увидела болонку и очень захотела такую. Но у нас они не водились. Мальчишки решили меня порадовать. Ояр упрашивал нас не делать этого.

– А что мы получим взамен? – спросили мы.

И тут один из нас вспомнил, что у нас говорят, мол, если покойник тебе приснится, то нужно спросить у него, где клад. И умерший обязательно тебе расскажет, где и что.

Мы сторговались с Ояром. Обещал, что как помрет, так сразу начнет сниться, и чтобы каждому по кладу.

Тем временем к нам в поселок приехала одна студентка из города, к родственникам на лето. Ояр на нее дышать не мог, стоял как вкопанный. Косы до земли, черные-жгучие, глаза оленя, тонкие руки, крохотная, хрупкая девушка.

Она ему свидание назначила у колодца.

Он пришел – седой старик, впервые за долгие годы нарядный, причесанный, с начищенными ботинками. Он и сам себе изумлялся. Неужели я еще живой и в моей душе не погас свет? И я все еще до сих пор могу любить? И во мне еще не умер мужчина? Моя бабушка молча приготовила настой полыни. Отлично успокаивает. Ояру точно будет нужно.

Так и случилось.

Студентка долго не приходила. Весь поселок собрался поглядеть на Ояра. Бабы уже подшучивали над ним. Мол, не поздновато ты на свидания собрался? Тебе сколько лет? И все такое.

Мужики опускали глаза.

Мы, дети, тайком хихикали, боялись рассердить Ояра громким смехом. Ну, а вдруг передумает и не захочет присниться.

Ояр молчал. Но Она все-таки пришла. Достала ведро воды из колодца и как ни в чем не бывало прошла мимо. Ояра затрясло.

И уже никто не сдерживал смеха.

И вдруг маленькая Гузяль (ей было пять лет) громко заплакала.

Ояр:

– Ты чего?

Гузяль:

– У моей рыбы глаза оторвались. Найти не могу.

Ояр сорвал со своего пиджака пуговицы с мясом и отдал девочке. И сам ушел. И пиджак бросил в пыль.

Через некоторое время в наш поселок пришли строители дорог и снесли бараки и кладбище. И на том месте проложили дорогу. Ояр всё это видел.

Он ходил в сельсовет, ругался. Но без толку.

Тяжко заболел Ояр. Тень от тени.

Бабушка снова стала его лечить. Но невозможно спасти того, кто не хочет спастись.

Он умер на ее руках.

Я не знаю, может, он и был ее последней любовью. Может быть.

У меня в тайнике там, в стареньком доме, долго-долго хранилась его фотокарточка – маленький мальчик поймал огромную рыбу. Она сияет на солнце. Он улыбается. Вокруг сосны.

Последние слова Ояра были: «Хочу чихнуть, да не получается». Смешно, да?

«Когда был в лагере, выжил только потому, что знаю множество смешных историй. Таких людей ценили. Не трогали».

Приснился недавно.

Смотрит на меня.

Я ему:

– Ояр, ты ли это?

Кивает.

Я ему:

– Ояр, ты где, в аду? В раю? Все это существует? Божий суд? И все такое?

Ояр:

– Да не про то спрашиваешь!

Смеется.

Я ему:

– Ояр! Ты своих нашел? Или ты опять один?

Молчит.

– Не про то спрашиваешь!

Я ему:

– Ояр, где клад?!

Смеется.

Тут моя грудная дочка Гулька толкнула меня в бок, попросила титьку.

– Мама, ти!

Я душила свой смех (чтобы не разбудить мелкую), вот он, мой клад, Ояр!

Мы не зря с тобой торговались!

А еще однажды мы с ребятами гуляли с Ояром в степи. Было лето, маки цвели. Ояр намазал себе нос медом и лег в траву.

И вдруг на его нос сели бабочки и стали есть, смешно шевеля своими тонкими лапками.

Несколько бабочек на его длиннющем носу.

Я никогда так не смеялась.

И мы все намазали носы и лежали в траве, боясь шелохнуться, чтобы не спугнуть бабочек.

А над нами сияло солнце.

Как в тот день, когда маленький мальчик поймал рыбу.

Про сварщика

Однажды моя мачеха в очередной раз вместо детского садика повела меня к себе на работу, в кинотеатр. Она была киномеханицей, а я целыми днями смотрела кино, там же ела и спала, в кинозале.

И вот очередное кино про шпионов вдохновило меня на игру в них. Дело было летом, большинство моих друзей оказались за городом, и мне пришлось играть одной. Выбрала себе объект наблюдения – молодого сварщика, который, красивый и очень аленделонистый, жил напротив, на втором этаже, у него была комната с балконом, он часто выходил, одетый по пояс, и выгуливал свою аленделонистость.

Девочки рассыпались погибающими букетами под его балконом, а сварщик убивал их своими жестокими равнодушными глазами.

Клянусь страшной клятвой мизинчика, я никогда больше не видела мужчины прекрасней. Никогда. Этот сварщик, похожий на древнего грека, смуглый брюнет с ярко-зелеными глазами... Ах!

Я следила за ним целыми днями, бродила за ним хвостом и рисовала в украденную у мачехи тетрадь, где и с кем гулял, карту его прогулок и прочее.

И однажды я увидела какую-то даму, ей было, как сейчас понимаю, лет, наверное, сорок, может, чуть меньше... А ему двадцать – двадцать пять.

Она стояла под его окном, он вышел покурить на балкон, они увидели друг друга, оба не сказали ни слова. Они смотрели друг на друга не отрываясь, очень долго, так долго, что все притихли во дворе и стали ждать, что же произойдет.

Напряжение росло. Оно было таким сильным, что никто даже не стал шептаться, мол, кто эта женщина и зачем она здесь?

Она была очень красивой, и одета с иголочки, так, как на нашем Шанхае никто из женщин никогда не мог себе позволить. Очень дорогая, роскошная дама, эффектная как кинозвезда. Она молчала и ждала. Он не спустился к ней, он отвернулся и еще долго стоял так спиной ко всем, и к ней в первую очередь, и курил свои дешевенькие сигаретки.

Наконец она ушла. К сварщику бросились парни, девицы с расспросами, но он отказался с кем-либо говорить и ушел, хлопнув балконной дверью.

Она приходила еще несколько раз, и каждый раз по пятницам, он не спускался к ней. Она стояла даже под дождем однажды, вымокла вся, но его это не волновало. Она ни разу не плакала, только стояла и смотрела на него, молча, долго, так долго, как только можно.

У нас во дворе уже и асфальт, и трава в его трещинках возопили, ну кто же она? Кто она такая?!

Нет, не мать же! Впрочем, он ведь детдомовец, да? Ну конечно, я сама видела его документы в нашем ПТУ. Откуда вдруг у него появится мать?

А может, она его невеста? Нет, не смешите меня! Бывшая любовница, каких у него были тысячи?! Может быть? Такая дорогая дама, да неужели? А вдруг она ему платила? Кто его знает?

Грязный смех и сплетни стали расползаться по нашему двору как змеи.

И вот наступила очередная пятница. И все уже собрались под балконом, ждали представления, все надеялись увидеть и осмеять. Но она не пришла. И он не вышел. Все было кончено. Их история так и осталась для меня тайной. Кто она и кем приходилась ему? И почему его глаза так горели, когда он смотрел на нее, и отчего он не вышел к ней ни разу?

И в ту пятницу, ту злую пятницу, я увидела, впервые в жизни, как плачет мужчина. Это плакал сварщик. Он сидел на чердаке, курил и плакал. И так горько и печально, что мое сердце заболело. Как говорит моя бабушка, если бы сердце нашло дырочку, оно бы выпрыгнуло.

Я подошла к сварщику и отдала свою тетрадку. Я обещала, что не скажу ничего, никому, что больше не буду так делать. А он все плакал и плакал. С тех пор я всегда чувствую себя виноватой, когда плачут мужчины.

А она больше никогда не возвращалась в наш двор. Вскоре тот парень купил мотоцикл и разбился на нем. А как звали его, я не помню.

Зернышки и якоря

Знаю, никто и никогда не найдет то крохотное зернышко беды, что просачивается в тебя вместе с дождем, во время которого ты оплакиваешь то, что только ты можешь оплакать, что-то из глубины. И вот тогда это зернышко поселяется в тебе, и пускает глубокие корни, и, может, когда-нибудь ты и сам поймешь, что эти корни и есть то, на чем ты держишься и живешь. Это как якорь для корабля.

Знаешь, это правда, а то куда бы нас унесло и где были бы мы сейчас без наших якорей.

Это было однажды, когда мои родители в очередной раз развелись, и я, испуганная старшеклассница, приехала к отцу поговорить про маму, а там другая женщина, не моя мама, и он выставил меня из квартиры, потому что я устроила истерику. И я убежала в дождь босиком, со слезами на глазах. Я металась по всему городу, отец звонил мне на пейджер, а я не отвечала на его сообщения.

Улицы – дома – окна с чужой жизнью, а потом я влетела в пивную Черного Солдата, того самого, про которого мои одноклассники говорили, что он один выжил из целого полка, там, в Афганистане. Впрочем, врал, конечно. Впрочем, это все были только слова из песни Виктора Цоя, конечно.

И там, в пивной, мужики даже расступились передо мной, в шоке. Такой безумный вид у меня был, глаза огромные, утонувшие в слезах.

Я подошла и смело плюхнула на барную стойку свои промокшие деньги, с меня капала вода, можно было подумать, что я русалка, сбежавшая от жестокого Нептуна.

– Водки! – устало, еле слышно сказала я, стуча зубами от холода.

Мужчина с той стороны барной стойки, тот самый Черный Солдат, грустно вздохнул, посмотрел мне в глаза. Он сказал что-то вроде: «Не грусти, малыш, может, лучше поешь нормально? Чего случилось-то? В школе обидели? Нет? А кто? Никто? Ну никто так никто... Забудь – бывает – пройдет».

И в итоге водка заменилась пельменями с чаем.

Какой-то мужчина сел рядом, закурил, стал ко мне клеиться. А Черный Солдат ему строго, как отрезал: «Отстань, дай ребенок поест

по-людски, что, не видишь, хреново человеку...»

А потом дождь закончился, вышло солнце, и слезы высохли, и что-то такое горячее поселилось в моей душе.

Я только потом поняла, что это зернышко моего горя. Теперь оно проросло, больно пустило корни сквозь меня, они ушли глубоко в землю, и вот я держусь ими на этой земле и не улетаю в космос как воздушный шар, наполненный гелием.

Хотя однажды... конечно, однажды... как мы все... Но это не страшно...

Через несколько дней я увидела по телевизору хронику вывода советских войск из Афганистана и узнала его – того бармена, Черного Солдата, в толпе рядовых, только он был моложе и хромал не так сильно, как в тот день.

Конечно, мои одноклассники много про него наврали, но оказалось, что самое главное – правда, он действительно там был. ТАМ БЫЛ...

И я поняла, у него тоже есть зернышко, и якоря, они, правда, тяжелее моих.

Имена

Это случилось давно, в одно из самых жарких алма-атинских лет, когда воздух был настолько горячим, что казался густым, как гречишный мед. И я не просто дышала, я проглатывала его большими дольками, сияющими и ароматными, как дольки дыни.

Сок стекал по моим пальцам, сок летнего жаркого воздуха.

Мне было тогда лет пятнадцать, и тайны взрослого мира манили и притягивали. Космическая музыка слышалась во всем, что касалось взрослой жизни, далекой и параллельной.

Я очень любила заходить на почту и выискивать в мусорных ведрах порванные, выброшенные письма, телеграммы и прочее. Нет ничего интереснее, чем складывать обрывки и искать в них то, что скрывается от чужих, то есть от моих, глаз.

Письма о прощении, о любви, о печали, о разлуке, требования вернуться, отдать долг, забыть, вспомнить, прийти на помощь, исчезнуть навсегда.

Строчки, строчки, строчки.

Выброшенные фотографии неизвестных мне людей.

Обещания и проклятия.

Благословения и обман.

Тонкие нити чужих жизней.

Я все это собирала в красную коробку и приклеивала клеем канцелярским пахучим «Школьным».

И перечитывала, снова и снова...

В те дни судьба подкинула мне новую игрушку. Там, на почте, появилась немолодая и уставшая от жизни печальная женщина, в стареньком, изношенном платье, с соломенной шляпкой. Она прошла к ящикам, где хранились письма до востребования, открыла один из них, достала письмо, распечатала конверт, заглянула внутрь и выбросила, и выскользнула, неуловимая, за дверь. В глазах – слезы.

Я тут же бросилась к урне. Схватила конверт. Там была только одна строчка, а на ней имя – Саша.

И все.

Только имя. И не ясно, мужское или женское. Саша – это кто угодно, верно?

И что это за письмо такое, без обратного адреса? И почему она так отреагировала на него?

День за днем я сторожила ее у почты, следила за нею. Она появлялась ровно в двенадцать часов дня, по пятницам, открывала свой ящик, и (это уже стало ритуалом) находила письмо и выбрасывала его.

У меня уже скопилась пачка конвертов. «Саша» в каждом из них.

Что за таинственная история пряталась в этом имени? Может, это история любви, несчастной и горестной, или история предательства, нераскрытого преступления, взаимной ненависти, гибели друга, напоминание как мстить... Какая-то тайна из ее прошлой жизни.

Не знаю до сих пор.

Только пожелтевшие конверты и имя.

И слезы – в глазах. Её слезы.

Я продолжала слезку. Игрушка полюбила настолько, что я забыла на время своих друзей и приятелей. Они обижались на меня, сердились, ревновали, но все это нисколько не трогало меня. Целыми днями ходила за новым развлечением, шаг за шагом, как тень.

Скоро я узнала, что та измученная женщина работает в библиотеке, я немедленно записалась туда. Стала ходить, торчала там круглыми сутками, делала вид, что очень люблю читать все эти занудные старые журналы.

Оказалось, что у этой женщины есть мужчина, он чуть младше нее.

Он жил в доме напротив библиотеки. Он встречал ее каждый вечер на перекрестке, и они уходили вместе к нему домой. Но его точно звали не Саша. Его звали Никита. Девочки из его двора сказали.

Однажды вечером я опять шла за ними, и вот уже у дверей его подъезда, глядя, как они обнимаются, я крикнула: «Саша! Ты помнишь Сашу?»

Мне было любопытно, что она сделает, как она отреагирует на мой крик... Она оттолкнула Никиту и подошла ко мне.

– Это ты кричала?

– Да.

– Откуда ты знаешь про Сашу?

– Знаю, и все. Откуда – не скажу.

– Зачем ты так?

– Захотелось. Мне скучно.

Она больше ничего не спросила. Она молчала, она вдруг обняла меня и заревела в голос, она плакала в мое плечо, я хотела вырваться – не смогла, я вдруг застыла в ужасе от того, что впервые столкнулась с горем такой силы. У меня рубашка была мокрая от ее слез.

Никита подошел к ней, обнял ее за плечо и буквально оттащил от меня.

Тайна так и осталась нераскрытой.

Господи, как было жарко в тот вечер. Казалось, что дома вот-вот треснут как спелые арбузы, от духоты этой и чего-то еще...

Годы спустя я понимаю, что имена из прошлого порой и есть то самое, что делает меня – мной, они составляют мою жизнь, они будут рядом со мной, когда я умру, они не исчезнут, пока я существую, и после моей смерти останутся.

Пачка пожелтевших конвертов.

И имена, от которых – больно, жарко, радостно и печально, от них хочется скрыться, их – хочется найти.

Имена, услышанные в толпе, по радио, прочитанные в книге, в Интернете, в газетной публикации. Люди, которых больше не придется называть по имени.

Мое имя тоже в этом ряду, для кого-то... Может, кто-то, кого я и не помню толком, повторяет мое имя, в надежде вспомнить и сохранить что-то ценное и важное.

Без обратного адреса.

Бывшие и прошлые, те, кого больше нет, те, кто больше не нужен, те, о ком помню каждую секунду, те, кого не хочу помнить. Те, кто как игла в моем сердце.

Имена друзей, врагов, родных, чужих, соседей, любимых, ненавистных, в одну строчку – все.

Иероглифы только мне понятного языка.

Никто не прочтет. А даже если и да, то...

У меня тоже есть имена, из-за которых я тоскую и часто-часто курю.

А у кого их нет? Таких имен? У вас нет? Наверняка ведь...

Саша – это мужское или женское? Это ведь кто угодно...

Кто угодно.

Имя, которое повторяешь как мантру, как молитву, ежесекундно, про себя, чтобы никто, кроме ангелов и Самого...

Выброшу все конверты.

Потому что письма из прошлого, они всегда без обратного адреса, невозможно ответить. И ни к чему хранить.

Это как звонить из 2009 года в 1943-й, набирая номер с буквами. На каком современном телефоне вы видели буквы? Разве что на мобильном...

Звонить с мобильного в прошлый век...

Письма

Когда-то я жила в одном маленьком поселке, в Казахстане. Напротив нашего дома стояла тюрьма. Там сидели мужчины. Они писали малявы, короткие записки на клочках, и бросали их за решетки. Малявы валялись по всей земле. А затем приходили женщины – дочери, жены, сестры, матери, любовницы. И подбирали их, грязные и изодранные, с растекшимися чернилами, искали любимый, родной почерк.

Зимой они выгребали записки замерзшими пальцами из-под снега. В дождливую погоду старались как можно скорее прочесть строчки, растекающиеся под дождем. Пока струйки воды не смыли все. Пока дождь не отнял самое дорогое...

В жару буквы выцветали. И вместо текста – оставалась только паутинка, не разобрать, что там.

Короткие строчки, ради которых пройдено столько – ради них – на коленях ползком по снегу. Пальцы синие от холода. Поймать в ветре крохотную бумажку.

Написать самое главное, потому что лишнее не поместится на этом обрывке. Только самое главное. А что оно, самое главное? Что?

Письма и имена.

На этом замолкаю. Больше мне нечего сказать. И хорошо, что у нас есть имена. Только не надо их громко. Лучше шепотом, в тишине.

Вражеские голоса

Эта история произошла, когда мы еще учились в школе. Обычный школьный день начался с общей линейки, после нее все разошлись по классам. Мы заняли свои места, обменивались шуточками и записками. Мы – это ученики младших классов, двоечники и прогульщики.

– Вы, конечно, знаете, что случилось на Украине? – спросила нас пожилая учительница. По слухам, она еще помнит Великую Отечественную, похороны Сталина и вообще ровесница мира, а может, и старше его.

– Нет, – никто из нас ничего не знал.

– А я вам скажу! Чистую правду! А то наводят вражеские органы печати и радио-телевещания на нашу Советскую Родину грязную клевету, а я вам отвечу, это все пропаганда! А кто будет слушать вот это все, тот никогда не станет пионером! – она негодовала.

А мы играли в морской бой и крестики-нолики. Нам было всего-то ничего годков, мы никогда и не слышали про эту самую Украину, откуда нам. И какая может быть, к черту, Украина со всеми ее трагедиями, когда вот у Дины собака родила щенков (Дина, вы только прикиньте, пацаны, видела роды щенков сама, расскажи, Дина!), а у Дамира мама привезла вот какие прикольные игрушки и книжки.

– Так вот! Там произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции!

Мы оживились. Авария – что может быть круче! Интересно, а сильно жахнуло и что-нибудь сгорело? Вот здорово, если бы сгорело хоть что-нибудь, как в фильме про пожарных.

– Вражеские голоса утверждают, что последствия катастрофические. Что в республиках Украина и Белоруссия жуткие последствия, гибнут люди, земли отравлены радиацией. Так вот, все это неправда, все это пропаганда. На самом деле жертв нет, а жителей вывозят планово. И земли вовсе не отравлены. Советские власти принимают решения по этим вопросам. Все последствия аварии будут устранены. А что касается Белоруссии, это даже смешно, – наша старенькая педагогиня говорила дрожащим голосом. Она от волнения

то и дело замолкала, искала слова, пила воду из графина и показывала указкой на карту, вот где находится эта самая Белоруссия и вот она, Украина.

– Два зеленых пятна. А все равно Казахстан больше, подумаешь, какие-то пятна! – сказала я, и мы с моим другом Дамиром продолжили обмениваться записками.

Учительница пыталась утихомирить класс, но куда там, мы не слушали ее, мы были заняты. Детство, жаркий день, солнце.

И только моя подруга Мадина молчала. Она была родом из Семипалатинской области, из той самой, где был ядерный полигон. Она с малых лет слышала это слово в разговорах взрослых – радиация... Она знала то, чего не знали мы... А еще она знала, что властям верить нельзя, новостям верить нельзя, газетам верить нельзя, врачам верить нельзя, учителям верить нельзя, военным верить нельзя, ученым верить нельзя... И что в нашей стране все временное становится постоянным, а все, о чем ты думаешь, что это постоянное, – временно.

А потом в школьном дворе учителя, молодые и начинающие, спрашивали у нашей классной, а зачем вы среди таких малышей проводите агитацию? Они же совсем крохи, им не понять даже. Нам гораздо труднее, мы со старшеклассниками работаем. Они такие вопросы задают...

Наша классная немедленно потребовала, чтобы они, молодые, выдали ей списки с именами и вопросами, мол, кто чего спрашивал. Обещала проработать ЭТИХ. Чтобы они больше не смели, никогда. Ни за что...

– Вот видите, агитацию надо проводить с самых ранних лет. Если не мы займемся нашими детьми, ими займутся наши враги.

Затем у ее кабинета стояли они – те, кто из черного списка, дети из разных классов. В очереди. Она прорабатывала их по одному. Из класса то и дело вылетали ребята и девочки со слезами и гневом.

– Но ведь я только спросил! Я ведь только хотел узнать... Что, не имею права?

– Не имеешь! Тебе доверили старшие товарищи важную информацию, а ты! Да за такие дела галстук пионерский снять можно...

Я потрогала свой октябрятский значок и честно дала себе слово никогда и никого ни о чем не спрашивать. А то ведь снимут. При всех возьмут и снимут значок. Стыд какой! Ужас! У всех будет значок, а у меня нет. У меня – нет! Кошмар!

А еще у нас был скандал. Старший брат Мдины Кайрат взял и самовольно снял свой галстук. Он что-то такое сказал педагогине, ровеснице динозавров, что пришлось вызывать скорую для нашей мадам. Сердце.

Его не пускали в школу без галстука, требовали, чтобы он надел. Вызывали его маму. Мадине учителя грозили, что если ее брат не сойдет с гнилой дорожки – его выгонят из школы. И ничем хорошим это не кончится, это же надо... распустились совсем.

Учителька написала на него бумагу куда следует, и мальчиком занялись...

К тому времени советские власти уже признались, и что жертвы были, и что последствия гораздо более серьезные, чем утверждалось ранее, но нас в нашем крохотном поселке это не касалось, у нас была своя страна, свои порядки.

Кайрата терзал местный участковый. Ругал его, угрожал, советовал не лезть к старушке, надеть галстук и забыть обо всем. Обещал помочь, на учет не ставить и все такое. А парнишка стоял на своем. Он видел, он слышал, он знал. Он рассказывал участковому про полигон, про то, как дети болеют в его родных краях, про то, что слышал от взрослых и видел сам, про то, как похоронил отца, как отец умирал от рака. Кайрат говорил и задавал вопросы. А почему и зачем, за что и для чего...

Участковый молчал. Курил. А потом не выдержал: «Да, тяжело тебе будет с таким характером, пацан. Ну что ж...»

Старушка, которая до этого все время болела, вдруг ожила. Скандал будто излечил ее, дал ей силы. Она стала писать письма в районо, в газеты, в журналы, депутатам, в ЦК и так далее.

А потом к нам в поселок приехала девочка. Говорили про нее, что ОТТУДА. С Украины, ее привезли какие-то родственники, здоровье укрепить... Мамы тайком шептали своим детям, чтобы на всякий случай не подходили, не трогали. Потому что непонятно и неизвестно. Толком-то про это ничего не пишут и не говорят, ни по радио, ни по телику. А кто знает, А ВДРУГ... МАЛО ЛИ ЧТО...

Она приехала к родственникам. А ей было, наверное, лет пять-шесть. Она говорила на каком-то непонятном языке. И слов, которые говорили наши мамы по-казахски, она не понимала, но что-то такое чувствовала... Она не подходила к нам, видела что-то в наших глазах... Мама следили за нами из окон. Она играла сама по себе, одна...

И только Мадина рисовала классики и прыгала вместе с ЭТОЙ девочкой. Классики – та самая игра, для которой не нужно перевода слов. Есть только прыжки и веселье.

Мадина сказала:

– Однажды я увидела ее, она молча рисовала что-то на земле. Ее бабушка стирала белье в тазу, изредка поглядывая на девочку. Я взяла камень и подошла к малышке. Она испугалась. Не сводила глаз с моего камня, наверное, думала, что брошу в нее. А я стала рисовать камнем на земле классики и дала ей его. Она смеялась. Бабушка смотрела на нас и вытирала о фартук мыльные руки...

Мы с ребятами хотели к ним, но наши мамы... в глазах строгость и страх. Они слишком хорошо знали, что такое в нашей стране это А ВДРУГ...

Они помнили времена и рассказы о них, когда друг становился врагом, когда выгоднее было скрыть свое мнение, происхождение, взгляды и отношения с кем-то. Когда друзья переходили при встрече на другую сторону, не здоровались.

Родство с кем-то было грузом и опасностью. Даже твоя национальность могла оказаться тяжелым камнем на шее. Они помнили и знали... это где-то в подкорке, в подсознании, не убиваемое, даже если нас всех загнать в пустыню на сорок лет и дожидаться, когда уйдут поколения тех, кто помнит рабство и в душе раб...

Мне кажется, что в страхе всегда есть рабское, и тот, кто не боится, того не сделать рабом... НИКОГДА.

Старушка добила все-таки своего. Кайрата выгнали из школы. И он, и его сестра вместе с мамой были вынуждены уехать из нашего села, чтобы их единственный брат и сын смог закончить школу.

Мы с Мاديной долго не виделись, а теперь вдруг нашли в Интернете. Созвонились. Она живет в Караганде, вышла замуж,

преподает в музыкальной школе. Кайрат теперь работает врачом, он онколог.

А вот мама их умерла, давно... рак...

Помню, когда Мадина уезжала, вместе с братом и мамой, она шла со своим маленьким чемоданом по нашей пыльной старой дороге, а за нею бежали мы – ребятишки. И все глядели на Кайрата, им гордились, его любили, его ненавидели, его презирали, им восхищались, в него были влюблены, его ждали, его прогоняли, его отъезд был облегчением и тяжестью...

Во двор выскочили ребята из его класса и крикнули ему вслед: «Удачи! Встретимся на перекрестках!»

Он обернулся и махнул им рукой...

И ребята не выдержали и подбежали к нему и обняли его на прощание. Учителя кричали им, что накажут за сорванный урок. А ребятам было по фигу... Они виделись в последний раз.

А ТА девочка вскоре уехала из нашего поселка и наверняка уже забыла про нас, ее обижавших, про наших мам, про Мадину и нашу горькую пыльную землю... Где теперь ТА девочка?

Нити рвутся, ломаются ветви. Облака сменяются тучами. И самое важное – страх уходит... по капле...

Как вылечиться с помощью словаря

Я как-то уже писала про то, что моя бабушка лечила людей травами и заклинаниями, она знала их море, на самых разных языках, от казахского до украинского. Так и делала: заговаривала человеку болезнь, сначала на одном языке, потом на другом, искала до тех пор, пока с болезнью договориться не получалось.

Сначала по-казахски (все-таки в Казахстане живем), потом по-русски (а кто у нас соседи?), по-украински, по-уйгурски, по-дунгански, даже по-китайски знала (а кто его поймет, откуда болячка прилетела, с какого края).

Говорила, говорила, говорила.

И знаете, да, помогало почему-то.

А однажды привели к ней мальчика, у него такое случилось: какая-то большая собака напугала, он вдруг перестал говорить, от ужаса. Бабушка с его болезнью, с ним, давай круги наматывать, неделю говорила, с перерывами, приводили к ней, уводили.

Смешно сказать, этот мальчик теперь переводчик с арабского, персидского и урду, мой друг. Наслушался звучания разных языков, в голове осталось, стал развивать.

У моего дяди – циркового артиста, джигита, мастера трюков на лошадях – было море словарей, бабушкой даренных. Все на случай, а вдруг – болячка, а он на гастролях. И немецкие, и английские, и монгольские, и все 15 словарей по 15 республикам СССР.

У меня тоже дома такие валяются. Иной раз, когда что-то заболит, достаю из-под кровати и давай шпрехать: «Гутен морген, вас ист дас?»

И ничего, отпускает. Всегда можно договориться... Главное – очень захотеть.

Утешитель диких животных

Когда я была маленькой, то на вопрос: «Кем ты станешь, когда вырастешь?» – отвечала: «Утешителем диких животных».

– Это как же? – спрашивали меня.

– Очень просто, привозят диких животных в зоопарк, они там тоскуют по своим норам, саваннам и джунглям. Тоскует жираф, печалится страус. А я возьму стремянку и буду гладить жирафа и страуса по головам, чтобы не грустили.

– Ну, вот ты выросла, и кем ты стала?

– Я переводчица. В основном перевожу инструкции к применению – холодильник, утюг, чайник и прочее. Скучно, конечно. А где-то плачут не утешенные мной животные.

Почувствуй себя любимой женщиной

На нашей улице была мясная лавка Левана и брата его Ираклия. Леван – такой бородатый мужчина с усами, серебряные кудри. Он мясник. Стоит, курит, руки в крови, фартук в крови, в глазах – грусть.

К нему в лавку входит какая-то измученная женщина, в руках сумки, на спине рюкзак, вся загруженная, вся авоськами увешанная.

Леван:

– Девочка, красавица, купи мяса.

Женщина:

– Ой! Дорого!

Леван:

– Девочка, хорошая, уступлю... Даром отдам почти.

Женщина с ужасом:

– Ой, а оно, наверное, несвежее...

Леван (ласково):

– Возьми мяса, родная моя, придешь домой, вот эти вот мешки забудешь, наденешь красивое платье, губы покрасишь, духи-шмухи набрызгаешь, пожаришь себе с луком эту волшебную свинину, вина нальешь, фрукты поставишь, музыку включишь... И сиди, кушай, ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНОЙ!

Женщина прослезилась:

– У меня не хватит...

Леван молча заворачивает самый лучший кусок мяса в кулек и отдает ей:

– Давай сколько есть. Тебе скидка. И еще: мяса пожаришь, позови к себе в гости кого-то. Просто так.

У Левана всегда в лавке было полно женщин. Уходили счастливые.

Жалко, теперь той лавки нет.

Как хорошо, что вы меня не понимаете

Однажды к нам в школу привели пожилого человека, ветерана войны. Он долго рассказывал нам о войне, об истребителях, о взрывах, о минах и прочее.

Мы, первоклашки, слушали его и не понимали: «О чем ты, старик?»

Никогда такого не видели, никогда о таком и не слышали. В кино только. Ну откуда нам понимать, чем обычный самолет отличается от истребителя. И противотанковые мины от противопехотных.

Старик говорил-говорил, мы его перестали слушать, баловались, кидали друг другу шпаргалки, играли в морской бой. И не верили, что когда-то и он был молодым, и ребенком он был.

В детстве никогда в такое не верится.

А он после улыбнулся и сказал, счастливый:

— Дети, какая радость, что вы меня не понимаете, не слушаете и не знаете того, о чем я говорю. Вы не знаете, что такое смерть и вражда. Войны не знаете. Значит, не зря воевал, не зря вас защищал.

И по всем каналам «Лебединое озеро»

Дело было в Туркмении, папина экспедиция (а он всю жизнь строил дороги) заканчивала свою работу. Требовалось собрать аппаратуру, палатки, отметить будущие трассы на картах, сдать их.

И вот, когда весь лагерь в суете и суматохе собирается, а все это происходит в пустыне, в Каракумах, кто видел «Кин-дза-дзу», тот знает, про что я... Так вот, в самый последний момент откуда-то приезжает автобус с хором, то ли грузинским, то ли армянским или осетинским, не помню, в общем, они в бурках и папах выходят из автобуса и поют.

А наши не слушают толком, времени нет, собирают манатки. Палатки складывают. Дирижер обиделся. Папа сказал: «Не обижайся, давай лучше выпьем».

И выпили, дело к вечеру, костер завели и еще выпили и стали петь. Хором у костра.

Утром все разъехались. А когда вернулись в Ашхабад, то уже всё, конец, по всем каналам «Лебединое озеро»...

Огрызок великой династии

Это случилось очень давно. В Алма-Ате. Те, кто когда-нибудь там жил, знают: высоко в горах спряталась наша Космостанция, обсерватория, похожая на инопланетное гнездо. И поселок вокруг. Маленький, крохотный.

Жил там один старичок. Астроном. Ветеран астрономии в Казахстане. Стоял у истоков. И все такое. Куча регалий, званий и прочее. Почтенный дедушка, аксакал.

Моя тетка работала там же, в обсерватории, мыла полы, и потому я имела право торчать в этом заведении сколько угодно. Хоть целые дни и ночи напролет. Смотрела в телескопы, на вычисления, таблицы, слушала какие-то научные речи. И ничего не понимала. Только одно знала: очень трудно жить, если не видишь звезд так близко, так рядом.

Нужно всегда, чтобы они были с тобой, эти непонятные звезды, эти странные звезды. Нужно чувствовать, хотя бы секунду за свои долгие годы и десятилетия, этот морозный холодок, что проходит по спине при мысли о звездах, о том, что они такие летучие и неумираемые. Вот ты умираемый, легко и просто умираемый, а они нет. Никогда не умираемые. Ты кончишься, а они нет!

Понимаешь, НЕТ!

И как же это?

Старик – звездный аксакал – такой древний, что, кажется, он сам помнит рождение космоса. Лично принимал роды у Вселенной. Знаком с каждой пылинкой в бесконечном пространстве. Младший брат Бога.

Он приходил, и все затихали. Он садился за свой любимый телескоп и долго смотрел в него. Уже на пенсии, давно не при делах. Но все равно приходил. И все затихали в почтении.

Там, в обсерватории, работала его внучка. Она была старше моей тетки, седина на висках, горб на спине. И огромные СИНИЕ глаза. Помню до сих пор. В них хотелось смотреть долго-долго, держать ее за ее маленькую горячую руку и никуда не уходить.

И слушать ее рассказы о космосе. Она говорила о нем так, будто космос ее дом. Нечто настолько же родное и уютное, как кухня в квартире, пропахшая кофе и чаем, сигаретками и вином. Любимая

кухня, в ней вырос, в неё возвращаешься каждый день, в ней пережито столько, что и не сказать, в ней живешь, в ней и помрешь однажды, бесконечной бессонной ночью, когда воспоминания тревожат и терзают, и щеки горят от всей этой горечи, и не спрятаться и не скрыться. И от водки не пьянеешь. И повторяешь как мантру, как молитву только тебе и ушедшим известные истины. Фразы, ясные только тебе и им. Вина, которую не разделить и не избыть, и остается только унести ее с собой в могилу.

Она не боялась вечности и бесконечности. Она говорила о них так просто и ясно, как домохозяйки говорят о борще и белье.

Детей у нее не было, мужа и домашнего уюта. У неё был дедушка и разговоры на двоих, о родном, о том Великом, чему посвящены жизни нескольких поколений их семьи.

Она называла себя: «Я огрызок великой династии. Деды и прадеды – все знаменитые ученые. А я... так, в телескоп гляжу. Астроном средней паршивости, малой вшивости».

После, через годы, я узнаю, что Тулуз-Лотрек тоже называл себя огрызком. Горькая цитата.

И всё, что осталось от родных, – золоченые корешки на толстых книгах. Имена и регалии – ничего больше, только пожелтевшие страницы, карты, атласы, понятные только узкому кругу посвященных.

Мне казалось, что это какая-то секта. Все эти астрономы. Секта, не иначе. Орден монашествующих.

Ее дедушка приходил в обсерваторию, садился в любимое кресло. И вглядывался в космическую темноту. Он здоровался как со старыми знакомыми с Луной и созвездиями, планетами и туманностями. Никто кроме него не смел прикасаться к этому телескопу.

Однажды я все-таки рискнула, пока никого не было рядом, влезла в кресло и присмотрелась в драгоценное стекло. И что же я увидела?

На стекле были НАРИСОВАНЫ все эти планеты и космические сокровища.

За спиной послышались шаги, я не успела выскочить из кресла, как тонкие, знакомые, горячие пальцы той самой внучки схватили меня за плечи.

– Никому не говори! Если посмеешь, я... – тихо сказала она, оборвав фразу от бессилия.

Я кивнула в ужасе, ее синие глаза наполнились слезами.

– Зачем же вы испортили телескоп? Зачем вы так?

– Он уже совсем старенький, и глаза у него слабенькие. Сам он уже ничего не увидит. А если так, то, конечно же, ему будет виднее. Ему нужно видеть звезды, иначе не сможет жить. Понимаешь, ему это как дыхание для жизни.

Огрызок великой династии. Стершееся имя среди золотых корешков. Молчание в пустой кухне, даже кота у нее нет, не может завести, аллергия. Смешно, да?

Из родных в живых только дедушка. Но сколько ему осталось? Он уже и ходит-то с трудом.

И тонкими, аккуратными стежками она рисует этот космос. Чтобы он видел. И он не догадывается. И не догадается.

И все затихают при его появлении. Слушают, не дыша, его фразы.

А он говорит и боится, что однажды они – молодые волки – скажут один другому: «А старик-то сегодня совсем плох, уже маразм».

Он боялся, что их молчание и учтивость – это просто вежливость и согласие, так люди обращаются с психически больными, выжившими из ума стариками вроде него.

А она всё рисует для него. Ей легко, она ведь знает этот космос с детства. С колыбели. Еще не прикоснувшись губами к материнской груди, она уже знала. На генетическом уровне, подкорка уже заполнена. Ведь не напрасно несколько поколений ее семьи потратили себя в служении Бесконечному.

Нелюбимая женщина любимого человека.

Даже поцелуя в ее жизни не было, только долгие взгляды, туда, куда вход ей запрещен. Он женат, он чувствует к ней только уважение и симпатию. Она ему интересна, как бывает интересна книга, точнее справочник, энциклопедия.

Он задавал ей вопросы, слушал ее рассуждения, приглашал к себе в гости, на семейный ужин, где жена-красавица, горячо любимая, и дети – крепкие здоровяки, румяные как булочки.

Он называл это дружбой. А она задыхалась и вешалась от этой дружбы. И глаза прятала, отводила в сторону. Он гордился этим знакомством и приближенностью к знаменитой семье. Пользовался этим, делал научную карьеру, имя себе.

Прожить жизнь и даже не поцеловаться ни разу. И прикоснуться к любимому только в рукопожатиях, коротких, сухих. В них только

пустое, ничего кроме вежливости. Тонкими горячими пальцами на секунду ухватить крепкую мужскую руку и тайком вдохнуть ее запах.

Милая девочка, рисуй, рисуй.

Старенький астроном, молчи и смотри.

Прошло много лет, я и не знаю, где эти люди и что с ними стало. Старик, вероятно, уже помер. Тот мужчина с семьей, говорят, уехал в Канаду или в Италию. Он смотрит на другие звезды и другие созвездия. Но это не важно, в какой он стране, потому что Бесконечное не имеет границ и не знает различий в языках.

А она? Огрызок великой династии. Живая цитата Тулуз-Лотрека. Слышала о ней разное. Одни говорили, что спилась. Другие – сошла с ума. Третьи – сменила профессию, теперь она проводница, все время в пути. Четвертые – она в богадельне, для инвалидов. Пятые – она уехала. На историческую родину. Не знаю куда. Она, кажется, гречанка или еврейка. Видели, какой у нее гордый профиль, Ахматовой и не снилось! Шестые утверждали, что она умерла.

Я спрашивала о ней другую мою знакомую, Марусю.

Маруся сначала долго молчала, а потом ответила: «Ты знаешь, случилась очень странная история. Та, о ком ты спрашиваешь, на самом деле исчезла. Ее искали повсюду. И даже в реке, думали, вдруг утопилась. А она просто исчезла. Сразу после дедушкиных похорон.

Соседи не видели. Коллеги по работе не знают. И следов не осталось. И думай что хочешь».

Мы все ее ищем, мы все ее ждем. И уже кажется, что напрасно.

Вспомнилось, она говорила о космосе, как о кухне в родном доме, теплой и светлой. Там пахнет кофе и сигаретками.

О космосе, просто и ясно, как домохозяйки о борще и белье.

О космосе, как о родном доме, в котором все близко и приятно. И все твое. И эта шляпа на вешалке.

Может быть, она однажды посмотрела в небо и растворилась в нем. В Бесконечном. Оно ведь ближе и роднее, чем та жизнь, в которой она жила. Бесконечное не сует «дружбу» вместо любви. И не гордится, не шепчется, оно не знает всей этой суеты. Оно родное!

И, конечно же, Бесконечное ее приняло в себя. Не зря же столько поколений этой доблестной и великой семьи потратили себя в служении ЕМУ! Космосу!

И часто-часто, особенно когда в Питере тяжелые зимние ночи, мне помнится она, внучка. И ее большие синие глаза, в которые хочется долго-долго смотреть и никуда не уходить.

И держать ее за руку.

Горбатая девочка, рисуй, рисуй!

Ты знаешь больше, чем мы.

Ты не чувствуешь холода по спине при мысли, что ты умираемая, а звезды нет!

Я всегда буду помнить тебя. Хорошо, что мы встретились на перекрестках, прикоснулись друг к другу и дальше отправились жить.

И будет новая жизнь

Однажды, когда я еще в младших классах училась, прихожу в школу, а там все наши из села, стоят какие-то мешки, старики и старушки, наши аксакалы и женщины и мужики... Собирают вещи.

Куда? Зачем? Почему?

И отчего женщины украдкой утирают слезы?..

– Армения, да, погибло очень много, дети маленькие тоже, а это вещи для выживших. Там случилось землетрясение.

Вижу, моя бабушка тоже среди людей, в мешки вещи складывает.

Соседка принесла какие-то старенькие сандалики.

– Внучка выросла, хочу отдать.

А бабушка сказала:

– Не надо старое, что ты, это же плохая примета. Старые горести к армянам вернутся. Надо новое, чтобы жизнь была новая. Прежней уже не будет, это ясно, такое горе, да. Но пусть будет у них другая, новая жизнь. Новые дети рождаются, новые семьи появятся. Давайте лучше новое дарить.

И соседка согласилась.

Часы любили Давида

У нас в поселке жил Давид, пожилой армянин.

Он часы чинил и разное. В кабинете его часы звенели в такт, что вы, это была часовая симфония, они были как живые, это были такие часовые волны – тик-так, тик-так. И кукушки были, да.

Эта была вся его жизнь, он мог целыми днями сидеть, согнувшись над ними, и ни о чем другом и не думал.

И говорить не мог ни о чем.

Только о них, о часах.

Знал всё.

Мельчайшие детали.

Мог воскресить любые.

Даже те, по которым проскакали лошади.

Это наш председатель колхоза уронил часы на скачках, и лошади, да, безжалостно истоптали.

Да, было однажды! Честное слово, сама свидетель. Он повозился с ними пару вечеров...

А все спорили, сможет починить или нет...

Председатель обещал, что если Давид справится, то он встанет на руки и пройдет на них по всему селу.

Мы ждали.

И да...

Через пару дней и ночей, уставший, как женщина после родов, Давид вышел на улицу из своего кабинета и наконец протянул жаждающей толпе шелковый платок, в который было завернуто нечто.

Платок развернули...

И председатель еще долго пыхтел, ходил на руках.

Часы любили Давида.

Давид любил часы.

И они не могли подвести друг друга.

А еще как-то Давида пригласили в один дом, где жила незрячая от рождения пожилая дама, у нее сломались ходики.

Дама сказала: «Да, я не вижу, и, если честно, мне даже все равно, день или ночь, я давно на пенсии и уже сто лет никуда не тороплюсь. И, если честно, мне просто нужно, чтобы часы тикали, чтобы они просто тикали, даже так, без надобности».

Давид понял, как ей одиноко, и нарочно растягивал время починки и приходил к даме как можно чаще. Дама была довольна и дарила Давиду яблоки.

И вот однажды Давид помер.

И все часы остановились, все как один. Когда хоронили, то вместо цветов положили в гроб часы. Так и лежал Давид среди них, любимых.

Остановились вместе с ним.

Часы любили Давида. Давид любил часы...

Про Кайрата и его бабушку

Один мой приятель по имени Кайрат работал на телевидении. Был у него широкий доступ к разного рода видео – фильмы, там, мультики, передачи, сериалы. И я, разумеется, этим пользовалась.

Однажды мы с Кайратом поехали погостить к его бабушке.

Кайрат взял с собой видеоманитофон и телевизор, хотел бабулю порадовать, показать ей мультики.

Привез. «Том и Джерри», «Ну, погоди!» и какой-то турецкий мультик.

Показывает.

Турецкий мультик. Для самых мелких. Там какой-то лис гоняется за птенчиком, и лису вечно достается: то на него кирпич упадет, то он на гвоздь наступит. А птенчик – живее всех живых.

Бабуля:

– Нет, мне это не нравится. Я не люблю, когда кому-то больно. Выключи это.

Кайрат выключил.

Бабуля:

– Это откуда такое?

Кайрат:

– Это, бабуля, из Турции.

Бабуля:

– Когда у нас в Казахстане голод был и люди умирали, моя семья разделилась. Одни здесь остались, другие в Турцию уехали, чтобы с голода не погибнуть. Не знаю, добрались ли, спаслись ли... Трудные были времена. Может, и померли все, упокой Аллах их души.

Кайрат:

– У меня еще есть веселое. Посмотри, может, тебе легче станет?

Включил «Ну, погоди!». Там волк за зайцем бегаёт туда-сюда, без отдыха. И тоже страдает серый: то упадет откуда-то с высоты, то трактор на него наедет или каток.

Бабуля:

– И что тут смешного? Он же от боли чуть не плачет! Не хочу. И где такое только делают?

Кайрат:

– В России, бабушка.

Бабуля:

– А-а-а, знаю. Там мои братья воевали. Ни один не вернулся. Фашистов били. Слушай, а это далеко – Россия?

Кайрат достал откуда-то учебник по географии старенький:

– Вот она. Близко, всего полпальца по карте, если руку приложить.

Бабуля:

– Интересно как. Никогда не видела. Я из нашего аула никуда не выезжала.

Кайрат *(с надеждой)*:

– Хочешь американское посмотреть?

Бабуля:

– Это откуда?

Кайрат:

– Западное.

Бабуля:

– Ну что ж, давай.

Поставил Кайрат «Тома и Джерри». Бабушка опять тяжело вздохнула и попросила выключить. Села, задумалась.

– Как странно устроен мир, нет в нем мира и порядка. На север пойдешь, там волка бьют, на запад, там коту больно, на восток взглянешь, там лиса убивают... Нет в мире добра: иди на все четыре стороны, и всегда найдется тот, кому горестно. И мне сейчас тяжело дышится. Подумать только, зверятки эти напомнили то, что, кажется, давно отболело, а вот опять же...

Она сложила все кассеты в стопочку и накрыла теплым одеялом, чтобы все зверята спали спокойно и не мерзли. А еще она запретила их включать. Чтобы никому больно не делать. Пусть лучше добрые сны видят, чем так носиться друг за дружкой и страдать. И чего смешного в том, что кого-то мучают! Ничего!

А еще украдкой дула на этот черный пластик, чтобы боль утихла...

Мы с Кайратом смеялись: неужели она считает, что они там живые? Вот оно, чудо искусства! Надо же, как она поверила во все эти

картинки! Это же просто феномен психологический!

Бабуля так и не включала больше видеомагнитофон и телевизор.
Никогда.

И кто знает, может, она знала о чем-то таком больше, чем мы?

То, о чем нам никогда не догадаться.

Не знаю, вот сижу и думаю. Ничего делать не могу.

Только думаю.

Совсем как бабуля.

Человек-амфибия отправляется в космос

У меня была мачеха. Когда я была маленькая, то вместо детсада ходила с ней в кинотеатр, где она работала киномеханицей.

Я была счастливейшим ребенком. Еще бы – просыпаться, засыпать в кино, есть там, там же играть и смотреть-смотреть-смотреть. Все фильмы подряд, круглыми сутками.

«Роман с камнем», «Полет навигатора», «Кинг-Конг», «Кинг-Конг жив», «Любовь и голуби» и так далее...

А еще старое европейское кино, например «Тарзан», черно-белый, с пловцом. И вечно тонущий «Чапаев».

И, конечно, японские мультики.

Но это все меркло и блекло перед индийским кино. Яркие наряды, пестрота в кадре, каждую секунду что-то происходит, кто-то, танцуя, умирает, а кто-то, танцуя, убивает. Пули резиновые, а машины картонные.

Игра, это была игра, настоящая. И верилось, и любилося, и горело все внутри. О, сколько слез я выплакала на этих киносеансах.

Помню, однажды мачеха, все-таки не выдержав, сказала мне:

– Ну, это же просто кино!

– Не трогайте меня! – закричала я. – Не мешайте плакать.

От просмотра кино круглыми сутками, с середины к началу, от начала к середине и с конца к началу, с начала до конца... в моей голове персонажи стали перепутываться, сюжеты переплетаться, и возникла привычка всё смешивать в кучу.

Мы во дворе играли некоторое время в «Рабыню Изауру» и «Санта-Барбару», но потом это надоело и на смену пришли мои сериалы, свежепридуманные, изобретенные на ходу.

Тарзан спасал Гиту и Зиту, а они мчались вызволять Кинг-Конга, им на помощь приходили Чапаев с Чебурашкой. Но не тут-то было, на их пути возникал Фантомас вместе с Геббельсом и устраивал взрыв. Но Айвенго и так далее... (Остановите меня, кто-нибудь!!! Я сейчас взорвусь от переполняющих меня воспоминаний.)

Дети носили меня на руках. Они почему-то с большим удовольствием играли в этот бред. Причем если у нас было два или три друга, желающих сыграть человека-амфибию, спасающего Красную Шапочку, то я придумывала так, чтобы всем троим было чем заняться и все трое могли бы играть этого самого человека-амфибию.

Боже мой, родители моих друзей жаловались на меня, что я морочу детям голову, что из-за меня они бросили нормальные игры типа прятков, догонялок или что там еще такое есть, и что это за странные фантазии? Почему вдруг Чапаев оказывается девочкой?

– Ну, потому, что Яна захотела играть Чапаева.

– А почему у Чапаева родился верблюд?

– А потому, что он мутант!

– Кто, верблюд?

– И он тоже. Дело в том, что он оказался на заводе, где случился химический взрыв, ядерные отходы полились на Чапаева, и он стал мутантом. И родил верблюда.

– А почему именно верблюда?

– Потому что зайца как-то несолидно, а медведь не помещается в Янкин подол, а как же Чапаев может родить, если он не был беременный. А, он стал не мутантом, он стал инопланетянином! Вернее, мутантом-инопланетянином! Просто, понимаете, Яна хотела, чтобы и дочка-матери, и Чапаев.

– ООО! – стонали не любящие меня взрослые и отползали на далекое от меня расстояние. Это было слишком.

Одна наша соседка упорно требовала, чтобы меня отвели к детскому психотерапевту. У девочки точно не все в порядке с головой! У нее, вероятно, шиза! Ее нужно в психушку, и до конца дней!

Бедная моя мачеха, она так любила меня и все равно водила к себе на работу, а больше было некуда, и я смотрела свои любимые фильмы.

А во дворе меня подстерегали ребята, которые ждали с нетерпением, когда же человек-амфибия полетит в космос и встретит там Навигатора, помните, того самого из «Полета навигатора».

Играть вместе нам запретили, спасибо соседке, которая распространила по всему дому, что я психически больной ребенок и меня надо на веки вечные закрыть! Поэтому нам пришлось изобрести конспиративные методы. Мои истории передавались из уст в уста (ну не умела я тогда записывать), от одного к другому. К словесному ряду

предполагался изобразительный, всякие картинки, секретные предметы. Причем можно было легко добавить и свою линию, своего персонажа и свои картинки. Можно было менять: как хочешь, что хочешь.

А потом кто-то из старших детей, из школьников, стал записывать все это. И понеслась! Мы рисовали, писали на стенах, на газетах, тетрадках. У нас появилась собственная история.

Мы были как первые дикари, жившие в каменном веке, открывшие, что на камнях можно изображать. Счастью не было предела.

Мы все выросли. Наши жизненные пути разошлись, но в памяти все равно остается наша любимая игра.

Наскальная живопись неразрушима. Это та самая рукопись, которая не горит!

Я протянула ему в подарок отрубленную руку

*У меня есть еще одна короткая история!
Посвящается всем девочкам любого возраста от 0
до 100!*

Итак, дело было под Новый год, когда все ребята в школе готовились к елке. Я тоже готовилась, хотела прийти в костюме снежинки. Училась я тогда в первом классе. И вот с утра вымыла шею, уши, сижу, рисую красками и жду, когда будет уже пора пойти. Часы тикают, дядя, который должен был меня отвести, занят, он цирковой артист, сидит жонглирует, репетирует.

И вроде все прекрасно, но... предательская краска капнула на мое белое платье, и вот кровавая клякса испортила костюм снежинки. Слезы, рев, горе.

– АААА!!! – примерно так.

И ничем не отстирать.

Дядя обнял меня и сказал:

– Зачем быть сорок третьей снежинкой на елке! Давай ты будешь первой и единственной девочкой-маньяком! Ты будешь самой красивой на свете серийной убийцей!

Мы радостно испачкали кровавыми пятнами мое белое трогательное платье с кружевами, белые гольфики и даже бантики на моих косичках были в крови. Лицо вымазали тоже. Дядя с восторгом вручил мне кухонный нож, я была в восхищении. Мы придумали историю про то, как я, первоклашка, нападаю на разных там людей, которые мучают бедных бездомных животных, и кромсаю мучителей жуткими кромсаниями.

ОООООО!!!!!!!!!!!!!!

Клянусь, я никогда не была такой счастливой, как в те минуты, когда мы вместе придумывали историю и этот костюм.

Стивен Кинг плакал от зависти.

Вдобавок мы сшили мне мешок, в который сложили окровавленные картонные руки и ноги, уши и головы. Это все то, что

осталось от живодедов.

Я с гордостью вошла в актовый зал, где проходила елка. Как раз шел конкурс на лучший костюм. Снежинки, котята, белочки, цветочки и солнышки в ужасе отпрянули, мамы и папы побледнели. Снегурочка спряталась за Деда Мороза, в шоке глядя, как я надвигаюсь, счастливая, кровеносная.

– Девочка, а что с тобой случилось? – спросил позеленевший весь Дед Мороз. У него даже халат стал цвета травы.

– Ничего. Это просто у меня костюм такой, – радостно ответила я.

– Ты, наверное, девочка-варенье? Или девочка – томатная паста? – с надеждой спросил дедушка.

– Нэээт, – улыбаясь, ответили мы с дядей. – Я девочка-маньяк! Истязую живодедов. Дедушка, вы случайно не издеваетесь над животными? Нэт? Тогда вот мой вам подарок на память. – Я радостно протянула деду отрубленную руку, у него потемнело в глазах.

Снегурочка вздохнула:

– Бедная девочка! Похоже, у тебя трудное детство! Вот тебе конфетка.

– А еще?! – Кухонный нож сверкнул в моих руках. Мне дали еще. Попробовали бы они не дать ребенку, когда у него в руках острый предмет и полный мешок конечностей за спиной.

В зале родители заботливо шептали своим чадам:

– Вот с этой девочкой не дружи.

Вожатые сомневались, принимать ли меня в октябрята.

А мы с дядей были счастливы. Это был триумф. Несомненный триумф. Мы шли домой и смеялись, от нас шарахались прохожие.

У меня было самое потрясающее детство с самым волшебным дядей, которого только можно было себе придумать!

И, вероятно, я действительно была первая девочка-маньяк в СССР! Можно сказать, как Гагарин вышла в космос! Ну, если, конечно, вы не знаете других таких...

Как разбитые елочные игрушки...

Один мой друг недавно предложил собраться всем вместе и пойти в цирк, как в детстве, радостно и дружно. Там все такое сияющее и блестящее, ну просто как разбитые елочные игрушки. Просто праздник какой-то. А я отказалась, ребята обиделись.

Ненавижу цирк с детства, терпеть его не могу. У меня дядя работал в цирке, и поэтому мне было разрешено ползать и лазать повсюду. Иногда меня даже брали с собой в разные там путешествия, гастроли.

Однажды мой дядя взял меня в очередную такую поездку. Уже не помню точно, что это был за город, кажется Ашхабад или Ташкент...

Там дядя встретил ее, волшебную даму, полумесяцем бровь. Нежная пери, жар-птица, райская дива, сама элегантность, загадочная дева с вечными перчатками, белыми, синими, черными, и всегда шелковыми.

Мы удивлялись: почему так? Лето, жара, а она в перчатках... Женщина-загадка, женщина-кроссворд, женщина – кубик Рубика.

Он влюбился. И плакал, и сох по ней. Она играла, делала вид, что не замечает, иногда бросала ему легкие взгляды. Он брал в руки ее тоненькие ладони и целовал их, она никогда не позволяла снять перчатки. Никогда.

О, дева! Как холоден твой жар!

Она была клоунессой, невероятно талантливой. Ее номера были по-настоящему смешны и забавны, при этом в них была грусть, та самая, которая бывает только у настоящих клоунов, один журналист назвал ее в своей статейке Енгибаровым в юбке. Дева радовалась тихо и не подавала вида, что радуется.

Журналист задавал вопросы, она отвечала, тихо-тихо, задумчиво, как будто сама беседа не имела для нее значения. Аристократка и клоунесса. Горделивая птица в небе над головами мужчин, даже взглядом не достать.

Фотограф снимал ее в профиль и анфас, с цветами и без.

А потом попросил снять перчатки. Она отказалась.

– Все, интервью закончено. Спасибо.

И улетела, крыльями звеня...

Тоненький носик, черные кудри.

Таинственные перчатки.

Ох уж эти перчатки, они не давали мне покоя. Мне казалось, что если я буду носить их, то все у меня будет отлично, прекрасно, как у нее, далекой и счастливой птицы. Они – знаменитые и красивые – кажутся нам, тем, кто неказист и непопулярен, просто небожителями какими-то.

У них не болят зубы, им не ставят двойки, слез они не льют...

Я тоже так хочу!

И тогда я украла у нее перчатки, ту самую шкатулку с резными узорами (кто жил в наших краях, тот наверняка видел такие). А в шкатулке они – шелковые, в них, кажется, и спрятано ее счастье и волшебство. Вот они – мой билет в огромный мир славы, счастья, денег, мое имя скоро появится на афишах.

Я спряталась куда-то, в темный крысиный угол, и среди запаха опилок и звериных испражнений открыла ее.

Вот она, моя прелесть...

И что же? В перчатках были они – деревянные пальцы – как у марионеток, с проволоками там, где должны быть суставы, чтобы гнулись.

Он любил и целовал столько раз ее руки и не заметил...

Ужас. Я отпрянула в шоке, мастерская работа, мертвые деревянные пальцы.

Мне было семь лет.

Мертвые деревянные пальцы, в шелковых перчатках.

Ее отец был дрессировщиком. Тогда очень известным в СССР, она стала клоунессой, звания и прочее, не назову ее имени, ни к чему, все равно ее давно нет в живых, зритель ее не помнит, к чему трепать ее забытое имя?

Ей было семнадцать лет. Произошел несчастный случай. Зверь всегда остается зверем, диким зверем, как его ни дрессируй.

С тех пор – перчатки.

Никто из нас – гастролеров – не знал об этом. Не принято в мире цирка обсуждать раны и шрамы, травмы и прочее... Их слишком много, они слишком часто... И это как-то не обсуждается всуе, только если по делу, если надо знать, на что способен человек, для номера,

для представления. Или если этого требует костюмер и гример... Когда нужно знать, что именно требуется закрыть и спрятать...

А вокруг – все такое сияющее и блестящее, ну просто как разбитые елочные игрушки.

Тем более все видели, что...

Он часто целует ее руки. Она не отнимает их. Она только-только перестала отнимать их. Она даже позволила ему обнять себя. Она – недотрога и скромница, аристократка и клоунесса, нежный эльф со звенящими крыльями...

Кто из вас может взять на себя такую миссию и нарушить чужое счастье...

Она молода, она и так наплакалась... Пусть ей достанется счастье, хоть немного. Хотя бы на краткий миг. За все ее страдания!

Она искала свою шкатулку. Она бегала по всему цирку, пряча руки.

Она нашла меня каким-то звериным чутьем, влезла в мой черный, грязный угол. Она не кричала, не плакала, просто молча, требовательно посмотрела. Я сама отдала ей это. Молча, щеки и уши горели.

Она повернулась и ушла. Моего дядю с того вечера она избегала. Меня тоже. Впрочем, я и сама боялась встреч с ней. Ее изуродованные руки плыли перед моими глазами. Впервые я поняла, что красота конечна, что мы конечны, мы смертны, наши тела не гарантируют невредимость.

Это было больно понимать, это было страшно запомнить. Вдруг я стала замечать то, о чем не говорят... Шрамы, травмы, раны, боль...

Я стала чувствовать так, будто это со мной, это у меня, это навсегда. Как будто это мои пальцы всегда будут деревянными.

Вскоре гастроли закончились, и мы уехали.

Я ненавижу цирк...

Про пингвинов и дядю Мишу!

Во времена моего детства у нас в общежитии жил сумасшедший одессит, дядя Миша. Ему было девяносто пять лет, когда мы познакомились, а мне – десять. Мы дружили, я слушала его пластинки и рассказы про разное, еще до войны, и прочее.

Однажды нашу общежитию затопило.

Какую-то трубу прорвало!

И вся общежития в дерьме!

И воняет жутко!

Мы стоим и печально смотрим на все это! Наш дом в дерьме! И воскресенье и жара! И никто не придет чинить трубу! Потому что выходной! И где ночевать? А оно все по стенам просто!

Я рыдаю!

А дядя Миша мне говорит:

– Все будет хорошо!

А я ему:

– Почему же? Дядя Миша!

Он задумчиво:

– Я знаю, что пингины придут спасать нас.

Занавес.

Про человека-птицу

Бабушка моя лечила людей травами, заговорами и разными тайными обрядами.

Так вот. Как-то раз в нашем доме появилась одна семья. Жена с мужем и трое детей, мал мала меньше.

Жена плакала, ревела в голос. От слез и крика ее лицо и руки стали красными и горячими.

— Как жить, не знаю. Был муж как муж, работал, как люди, в поле на тракторе, не пил, не курил. О детках всегда думал, заботился о них. А что теперь? Вот посмотрите!

Мы с бабушкой посмотрели. Перед нами стоял безумный человек. В рваной рубаше, с растрепанными волосами, глаза горящие и счастливые. Лицо его сияло, и губы улыбались. Он как будто и не замечал происходящего. Он был где-то далеко от нас. Рука его была привязана к руке жены.

Жена сказала:

— Он решил, что он птица. Что он может летать, гнездо в саду свил. Зерно ест, воду пьет из ручья. Над нами все смеются. Дети его стыдятся. А я уйти не могу, как же его одного бросить, совсем погибнет без меня. Вот держу, чтобы не улетел, а то сами знаете, у нас вокруг горы-скалы-пропасти. Бросится откуда-нибудь и разобьется. Врачи хотят в психушку запереть, а я так думаю, запрут туда однажды и не выпустят никогда. Такое бывало. Люди говорили. На вас одна надежда. Не отказывайтесь, помогите!

Бабушка спросила:

— А что скажете, если верну его в человеческое состояние, только он больше никогда таким счастливым, как теперь, не будет? И никогда не вспомнит даже, что был таким. И только время от времени станет открываться ему какая-то тоска и печаль по тому, чего он и не помнит. Вроде и жизнь хороша, и дети, жена, работа, дом, но чего-то не хватает, а чего — и не ясно. Как тогда? С этим-то как быть? Согласитесь?

Женщина утерла слезы и кивнула.

Бабушка:

– И нас с внучкой после лечения не вспомнит. Так должно быть. Мы теньями останемся в его памяти. Только и всего. Вот как выйдет за мой порог, так и все, как метлой из памяти вымело.

Жена вздохнула:

– А мне все равно, лишь бы вылечился.

Бабушка забрала несчастного в наш дом на несколько недель. И мы стали жить. Она поила его какими-то отварами, укрывала верблюжьей шкурой, жгла перед ним ароматные травы и купала его в настояках. И говорила с ним часами. Пела с ним песни, уводила его в горные ущелья бродить, в ледниковых озерах нырять. Бросала камни, гадала на кострах, вглядываясь в пламя. Глину теплую мазала на его плечи.

День ото дня безумному становилось легче. И если прежде речь его была неразборчивой птичьей трелью, то постепенно она превращалась в обычную человеческую. Потихоньку он стал похож на себя прежнего, на тракториста.

И однажды проснулся трактористом. Встал утром, вышел во двор, взял теплую весеннюю землю в ладони и сказал:

– Пахать пора, земля уже поспела.

Бабушка молча подала ему узелок с хлебом, сыром и кувшином молока. И указала на дорогу. Иди, вот теперь ты готов, теперь тебе самое время возвращаться.

Тракторист ушел. А моя бабушка по старому уговору в уплату за свое лечение получила от жены этого человека все зерно, которое тот себе запас, чтобы есть. Мы этим и прожили весну и лето.

И все бы хорошо, только вот не успела жена вовремя гнездо его сжечь, надо было до прихода мужа от нас. Как же успеть, дом, хозяйство, работа, дети. И все одной.

Пришел он, и стали жить, вроде все по-прежнему. Как надо. Только вот утром однажды, когда жена сжигала его гнездо, посмотрел он в огонь и спросил:

– Что это ты делаешь, родная?

– Ничего, просто мусор жгу.

– Мусор? – Он долго-долго смотрел, как пламя уничтожало следы его птичьей жизни. Тревожно стало ему, мучительно, защемило в груди, будто что-то родное погибало в костре.

Но ничего в жизни вроде бы и не изменилось. И дети росли, и поле пахалось, и жена трудилась бок о бок, и вроде все как надо.

Только вот, как предсказывала бабушка, вечерами грустилось ему и тосковалось, так птицы тоскуют по небу, так люди, которые были птицами, тоскуют по себе-птицам и не помнят, что они были птицами. Тоскуют, и не находит их тоска дна и вершины. Вроде жжет в сердце, а о чем – не ясно. Разве у вас не бывает смутной тревоги, как будто пропущено нечто, утеряно в траве?

Прошло много лет. Бабушки уже нет на свете, я выросла, и мои детские черты исчезли, стерлись, теперь у меня другое, взрослое лицо. И только родинки остались на лице. Те самые, мои.

Однажды шла по улице, уже в Алма-Ате. Мимо меня прошел какой-то мужчина, старше меня. Я его не сразу узнала, ну конечно, это Птица. А он сначала прошел мимо, а затем быстро вернулся, догнал меня, схватил за локоть и заглянул в лицо.

– Я вас знаю?

– Не думаю, нет, конечно!

– А вы меня?

– Откуда? Вам показалось. Простите, я тороплюсь.

Я выскользнула из его рук и исчезла в толпе.

– Мы останемся только тенью в его памяти, – говорила бабушка. – Только тенью.

И если ты был птицей и оставил все это за бортом, то незачем тебе помнить и ни к чему тебе напоминать об этом.

В пути я обернулась, затылком почувствовала – смотрит вслед. Грустный, тревожный, испуганный чем-то неизвестным и оттого пугающим. Смотрел и молчал. Долго-долго.

«Человек-птица! Прощай!» – сказала я про себя и ушла. И больше никогда его не видела.

И, честно, я сама иногда чувствую себя такой. Рука привязана к руке, и никому не радостно от моего счастья.

Чистка «на классе»

Ночь вокруг, а мне опять не спится. Сижу, надо бы по работе писать, а не хочется.

Не-а.

Полазила по «ВКонтакте». По ЖЖ.

Друзья мои – кто уже женился, кто развелся, кто родил, кто похоронил, а кого самого, да...

Соскакиваем. Исчезаем с линии огня... У меня в классе уже трое.

Уходим. В темноту, в смерть...

Не могу представить себе, что буду старой, что буду торчать в этом мире, одна как ять. Непонятная и вроде как ненужная.

И уходить молодой не хочется, когда столько не сделано.

Грустно.

Просто вспомнилось.

Я когда в школе училась, еще в октябрятах ходила – господи, кто-нибудь, вы еще помните октябрят? – так вот, у нас вожатая устраивала чистку «на классе».

Тетка была старенькая, пенсионерка.

И заставляла вставать перед всеми и каяться в своих грехах, недостатки чистить.

А я убегала и пряталась.

Не хотелось мне чистки.

Однажды я даже описалась перед всеми от напряжения.

Потому что надо чистку перед всеми.

А я и так болезненно застенчивая, к доске выйти не могла, на вопросы учителей отвечала шепотом, глаза опустив.

А тут надо встать и громко:

– Я КАЮСЬ! Я РАСКАИВАЮСЬ!

И вожатая вопит!

– ГРОМЧЕ! ГРОМЧЕ! Я НЕ СЛЫШУ, В ЧЕМ ТЫ ТАМ РАСКАИВАЕШЬСЯ?

А тебе стыдно, и все смеются.

И оттого голос дрожит еще дрожательнее и хочется завывать.

А они ОНИОНИОНИ...

А там ОНИОНИОНИОНИ!!!!!!!!!!!!

ОНИ ИЩУТ МЕНЯ!

Домой уже позвонили, наверное.

А портфель мой в классе остался.

ОНИОНИОНИОНИОНИ

Все равно найдут меня.

Все равно настигнут.

И завтра вся школа будет опять меня дразнить, потому что все уже знают про то, что я описалась от страха.

И все, конечно, смеются.

И если честно...

Бывает до сих пор, я иной раз чувствую себя так же загнанно, как в тот день.

Когда от меня что-то требуют.

Ониониониони.

– Как, тебе уже тридцать, и где твоя шикарная карьера? Где твоя машина? Где твой гламурный имидж? Где? Где? Где твои большие деньги? Большие связи? Как, ты знакома с ТЕМИ САМЫМИ КРУТЫМИ ЛЮДЬМИ, и что, ты НИЧЕГО у них не попросила для себя?

Дура!

А ты ведь могла бы, ну, публикацию в журнале, работу, и козыряй такими знакомствами чаще.

А чего ты не козыряешь?

Надо было, да.

ОНИОНИОНИ.

Да, до сих пор чувствую себя виноватой за то, что не умею и не могу, и да, я не практичный человек и, блин.

Да, описалась.

В школе я всегда была изгоем. И, если честно, до сих пор чувствую себя такой в кругу коллег-кинематографистов, писателей. Не умею вращаться в тусовке, поддерживать нужные связи. Просто сижу и тихо пишу себе дома что-то. На тусовки хожу редко, пару раз за год. Хватает впечатлений надолго.

Меня удивляет, когда люди интересуются моими текстами и хотят со мной общаться. Настораживает.

С другой стороны, я настолько замкнулась за последние годы и, наверное, всегда была такой, внешне общительная, но внутри...

крепки замки, вам не пройти. И редко кому удастся.

Когда прочитала о том, что какой-то школьник в Алабаме расстрелял своих одноклассников, а потом убил себя, облегченно вздохнула, ура, хорошо, что у меня не было оружия тогда!

Потому что хотелось, и неоднократно.

И да, в школе меня часто называли Кусачкой, потому что драться не умела и, когда обижали, бросалась и кусала за руку, зубами держалась. Меня били, пытались отцепить от руки, но нет, тихо держала в зубах, до крови.

Пока кровь не пойдет.

Некоторые боялись.

Всегда сидела одна.

А Омар Хайям до сих пор самый любимый автор. И мои детские стишки, подражание ему, – это и есть мои первые опыты в поэзии.

А «ВКонтакте» у меня нет ни одного бывшего одноклассника.

И в Одноклассниках ни одного.

Иногда кликаю на их страницы в Интернете и радуюсь, что могу спокойно смотреть детские общие фотки и уже не боюсь видеть эти лица, и не страшно вспоминать школу, теперь уже нет.

Мне тридцать лет.

А школа помнится.

Но друзья в моем детстве всё же были. Правда, не из школы. А со двора. Во дворе ценили то, что у меня всегда при себе энное количество всяких историй. Я понимала, что со мной будут общаться, пока я интересная, и потому круглыми сутками сидела над книжками, читала, что-то придумывала и записывала в отдельную тетрадь. Так и начала писать свои первые рассказы.

Ужас стать вдруг неинтересной был настолько силен (а значит, опять одиночество), что подстегивал меня все активнее и активнее сочинять истории, рассказывать, находить нечто яркое в жизни; там, где другой человек пройдет мимо, я находила мелочи, трогательные, смешные, разные.

Пока они слушают мою историю, они со мной.

А потому не спи, Шахерезада, пой песню, поэт.

Папины ботинки

Была у нас соседка, мать-одиночка, Вика. Тоненькая веточка, маленькая, с глазами уставшими. Стрелочница, на станции работала, поездам ночным, которые у нас раз в году останавливались, а все чаще мимо летели, сигналила что-то, знаки какие-то показывала. Мол, летите-летите, у нас тут все в порядке, жизнь идет своим чередом, пути чисты, ровны, не опасны.

Они и летели, холодно только мигали своими огнями. Сквозь нас и сквозь тьму.

Степь, ровная как стол, бесконечная, безграничная, поселок мелкий, людей всего ничего и пара улиц.

Вика, мать-одиночка. Мужа у нее в Афганистане убило. Она и сама еле живая с тех пор, бродит призраком, говорили, что она бы и не выжила, если бы не сын Паша.

Так вот... Я в то время была совсем мелкая, в первом классе училась. Неряха была, что скрывать. Вечно у меня по всему крыльцу обувь разбросана. Одежда в прихожей висит кое-как.

Тетка Муха как-то пристыдила меня, напугала.

– Чего ты так делаешь-то? Ты же девочка! Ты же должна за людьми в доме следить! Разве не знаешь, есть примета, что если обувь валяется и одежда грязная и плохо на вешалке висит, то болеть тому, кому это принадлежит! И смерть к тому близко-близко подходит и в самый затылок дышит!

Паша рядом стоял, сосед все-таки, слышал всё.

Мой одноклассник, первоклашка. Он бросился к своему крыльцу, папины тапки и ботинки начистил и рядком к ряду стал ставить. Пусть папа не болеет, пусть живет долго и скорее возвращается. А Вика смотрит на все это и молчит.

Паша не знал, что папа больше никогда...

Мама не сказала...

Мы все знали... Все-таки крохотный поселок, всего две улицы....

Чего тут не знать.

А Паша не знал...

Я его как-то встретила в Алма-Ате, уже взрослого, он программист, семья, дети. Дом свой, мама с ним живет, внуков нянчит.

А папины ботинки стоят в рядок. Ботинок к ботинку, один к одному. Начищенные.

Потому что...

Потому что сердце всегда ждет. Сердце всегда помнит и любит.

Всегда.

История про слона говорящего, который вдруг замолчал...

Хотите историю расскажу? Короткую? Про говорящего слона. Это случилось очень давно. У нас в Казахстане. В городе Караганде, там, где шахтеры, степь и много-много угля. Был в нашем городе крохотный зоопарк, а в нем жил самый знаменитый настоящий говорящий слон. Звали его Батыр, наверняка вы про него слышали! Про него же во всех газетах писали, по всем каналам новости крутили. Всюду перестройка, гласность, все как с ума посходили, а у нас слон, говорящий... Такая у нас страна, такая у нас земля, и мы сами такие, по-другому не можем...

Батыр говорил: «Мама!»

И разные другие слова... Добрые и злые, разные...

И ел булки с ладони, ласково брал хоботом, добрыми глазами смотрела на тебя живая гора. К этому слону была приставлена специальная женщина-ветеринар. А мой дядя любил ее и это чудо. Он приходил к этой даме, они держались за руки и целовались. Тихо, украдкой. На них удивленно смотрели животные и птицы. Мартышки смеялись, птицы пели. Жираф изумленно тянул шею...

И вот однажды Батыр заболел, вдруг, ни с того ни с сего. У него внезапно поднялась температура, давление стало скакать, и тяжелая боль поселилась в нем... И женщина-ветеринар всю ночь сидела рядом с ним и колдовала при помощи своих лекарств, а мой дядя целовал ее в темную кудрявую макушку. И нежно укрывал курткой, чтобы ее тонкие плечи не дрожали от холода.

А я держала Батыра за хобот и обещала ему, что он скоро поправится. А над нами сияли бесконечные тихие звезды. И фонари одинокими оловянными солдатиками сторожили нас и наш труд. Ночные птицы в темном небе, где сребреником сияла луна, произносили свои колдовские заклинания. И ветер уносил куда-то в неизвестные нам края запах булки, лекарств и мои обещания. Я прислушивалась к сумраку и слышала дядин шепот, смех той женщины и их поцелуи, тайные и загадочные...

В ту ночь я поняла, что такое счастье...

Мне было тогда двенадцать лет.

А потом эта женщина-ветеринар неожиданно уехала в Таджикистан. У нее там вдруг тяжело заболела мама. Маленькая старенькая мама... Не вывезти в Казахстан и одну не оставить.

И вскоре в Таджикистане началась война.

Люди стреляют, люди умирают. Никто не трогает ласковым хоботом твою ладонь. Никто не смотрит добрыми глазами в твою душу...

Батыр страдал, ему было грустно без той женщины, он любил ее и ревновал к моему дяде. Но разве мог знать слон, даже такой необычный, как Батыр, что женщины не могут любить слонов? Он этого не знал и по-прежнему надеялся, и это было мучительно для его огромного сердца.

А ведь это всем известно: чем больше твое сердце, тем тебе больнее.

Он, дивный и мощный, родился и вырос в зоопарке и, конечно же, не знал, что он не человек, а слон. Да и откуда ему это было знать?

Трудно понять, кто ты есть на самом деле, если ты никогда не видишь подобных себе...

Слон все говорил той женщине – лечившей его, спасавшей ему жизнь – свои нелепицы и по-русски, и по-казахски. Он даже матерился.

А женщина его все равно не любила. Она любила моего дядю.

Слоны бывают такие упрямые и не хотят понять простых вещей...

А дядя все не мог простить, что отпустил ее, ту невероятную женщину... Туда, где теперь война.

Где люди стреляют, люди умирают, падают в песок. И ничей теплый хобот не коснется твоей ладони, ничьи добрые и грустные глаза.

И больше мы ее никогда не видели...

И слонов таких тоже.

Умирающих от любви и от тоски и кричащих в темноту: «Мама!»

Призывающих и ждущих, несмотря на то что нет ответа, нет даже эха... и только твой одинокий голос в темноте, где все те же бесконечные звезды, и никто не знает, видит ли она их сейчас, смотрит ли на небо вместе с тобой и помнит ли она тебя и время, прожитое вместе с тобой...

Слон ждал, что она вернется.

Дядя ждал, что она вернется.

Я ждала, что она вернется.

Мы не могли не ждать... Иначе мы просто сгинули бы среди будней и выходных, среди прохожих и посреди этой треклятой осени...

А она не возвращалась... Она не могла вернуться... Может, она хотела бы вернуться, если бы могла...

Дядя бросил все дела, оставил дом на меня и уехал в Таджикистан, искать ее... Он обещал не возвращаться без нее, он гарантировал, что мы устроим грандиозный праздник, когда он вернется вместе с ней.

Я ждала его, я ждала праздника.

И слон тоже.

А дядя ездил зря, он ее не нашел. Даже следов ее. Только слова о ней...

Он встречал разных людей, которые говорили, что видели ее среди войны, среди смерти и крика.

Они говорили о ней только хорошее.

Добрая женщина-ветеринар. Она была в какой-то звериной лечебнице, и вдруг раздалось взрывы, началась перестрелка. Собаки, и кошки, и другие животные, и птицы – все закричали и завывали, они как будто сходили с ума со страху.

И как не сойти, когда неожиданно ты видишь, как твой друг-человек становится зверем.

(Я бы тоже сошла с ума, совершенно точно.)

И смерть так близко... Так непонятно и бессмысленно близко. И даже не принять этот бой с ней.

Разве кошка или собака могут победить пулю? Или взрывчатку? Неравная битва, даже пытаться не стоит... Это ясно и понятно. Стоит учесть и вычесть...

Она не оставила клинику. Все оставили, а она не смогла. Она осталась. И мама ее осталась.

Разве можно бросить больных, тех, кто без тебя не выживет...

Люди уходили, а она осталась. Она не умела предавать.

И мама ее осталась. Маленькая, старенькая мама...

Две хрупкие женщины и война. Две хрупкие женщины в белых халатиках... они продолжали бороться за жизни. Вокруг все убивали, а они боролись... люди в белых халатах... уставшие люди в белых халатах...

Люди стреляют, люди умирают. И ничей теплый хобот...

Так говорили. Так помнили их, тех добрых и смелых женщин.

Они погибли. Но никто не смог вспомнить, где же их могилы. Так много гибло тогда, хоронили наспех... Как всегда на войне, на любой войне... На войне всегда хоронят как попало, разворачивают землю, бросают в ямы, без гробов, без речей, без имен, без фамилий, без слез (какие слезы, когда они все кончились), в напряженной тишине... И только ветер над головой, ветер носит пыль.

Маленькая женщина-ветеринар, такая маленькая, что даже мне хотелось целовать ее в макушку.

И ее старенькая мама, которая вдруг сильно заболела... И не вывезти ее в Казахстан, и одна она уже не может. Как часто люди не могут, когда одни. Как им трудно, когда они одни...

И теперь их нет... Исчезли, как время... растворились в секундах. Их тела теперь разойдутся на атомы. Они будут всюду... как воздух. И даже если все забудут их поступок, смелый подвиг двух тонких женщин, все равно этого не вычисть. Это останется, этого не вырвать и не отнять.

Совершенное однажды – вечно!

А я все приходила к слону и держала его за хобот. И мы грустили вместе. Мы смотрели на дорогу, мы ждали, когда она вернется, та женщина-ветеринар, и снова начнется счастье. Мы верили, что если войны нет, то это значит только одно, что вот оно – радость вошла в наш дом и больше не покинет...

Слон, наверное, догадался, он, конечно же, догадался...

В воздухе возник холод, солнце скрылось, и птицы, улетающие на юг, кричали особенно тревожно и печально. Разноцветные листья падали на его огромную спину...

Он понял, он все понял, она больше не придет... Никогда... Она теперь, с этого мгновения, в другом мире, там, где нет его, там, где они, может быть, встретятся. А может, и нет... Кто знает, может быть, у слонов другой, отдельный от нас рай?

Ты тот, на ком держится вселенная, на твоей спине, на твоей могучей спине, на которую сейчас так грустно падают пестрые листья... Осень... скоро все занесет снегом. Все станет чистым и свежим, как постиранное белье... Все сотрется, и никто не вспомнит ни о тебе, ни о том, что случилось...

Чистый белый лист. Скоро его суетливо заполнят, но там не будет твоих строк, твоих звуков, твоих следов.

Снег, снег, снег, спаси нас, излечи, останови нас. Дай передышку нашим больным сердцам. Утешь и спрячь. Чтобы не болело.

Мы полюбим тебя, снег, со всей нежностью, с какой могут любить только безнадежные и оставленные на берегу. И пусть ты знаешь многое, но не то, о чем известно им, могущественным и благородным слонам, на чьих древних спинах держится наш тонкий диск.

И, может быть, только они понимают нечто такое о тех мирах и о душах, бороздящих пространства и времена, о чем мы и представления не имеем. Просто они не могут этого нам рассказать или мы не можем это услышать. Наверное, так должно быть. Иначе спины не выдержат и никакой снег не спасет...

Батыра часто снимали на кинокамеру, ученые не давали ему жизни. Изучали его, вдоль и поперек, и писали о нем книги.

А слону было все равно. Он не читал ничего о себе. Он был скромный говорящий слон. Что же тут такого?

Он все ждал и смотрел в крохотную (для него, во всяком случае) дверцу, откуда раньше появлялась она, любимая женщина-ветеринар, в своем тоненьком белом халатике.

А она больше не появлялась...

И он, кажется, знал почему...

Но не хотел этого знать. Он был упрямый слон. Он знал множество слов, кроме одного – никогда.

Он не пропускал ни одну фигурку в белом халатике, все равно, будь то мужчина или женщина, и напрасно тянул свой теплый хобот туда, за решетку, между прутьями, он чуял запах лекарств, столь родной и знакомый, и ждал ее ласки. Но фигурки оборачивались к нему, и он видел, что это не она. Он сердился, наш упрямый слон.

И все равно тянул свой хобот и приглядывался к фигуркам и лицам, выслеживал белое в толпе.

Напрасно.

Что же случилось с ним? Он вдруг как с ума сошел, он никого больше не принимал, из них – тех, что в белых халатиках, он ждал только ее. Он не хотел изменять ей с другими, в белом. Он не хотел, чтобы они касались его тела, которое только для нее. Но они все равно хватали его и трогали своими требовательными руками, своими многочисленными требовательными руками...

Он мог бы затоптать любого, он мог бы убить любого. Своим сильным хоботом схватить и...

Но он любил. А любящее сердце не может убивать. Любящее сердце часто само гибнет, но не смеет даже прикоснуться к другому со злым умыслом. Потому что влюбленные знают тайны, нам неизвестные, они ближе нас к небу, в сумасшествии своем чисты и неразумны.

А их было много, и с каждым днем все больше... ученые... они как слоны, не понимают. Им нужно понять и исследовать. Они все трогают тебя и ощупывают. Они заглядывают в твои измученные глаза и измеряют, они прикладывают к твоему телу какие-то аппараты, они смотрят в экраны и записывают какие-то цифры.

И куда от них деться? И как им объяснить, какими словами? И возможно ли это? Да и нужно ли это?

И убежать невозможно из клетки. Крепкая она, на совесть сделана. Грустный это мир, где на совесть только клетки...

Куда же деться?

Если ты родился в зоопарке, как узнать тебе, где твой родной край? Кто расскажет тебе об этом? Покажет путь в родные саванны, где ты вечный царь и властитель?

Как узнать родную землю, если ты никогда ничего кроме этого серого неба, холодного бетона и черного железа не видел... И есть ли она? Родная земля, хоть крохотный кусочек ее на этом плоском гигантском диске, что покоится на твоей утомленной спине?

Чем больше твое сердце, тем больше...

И никакие слова не помогают, если их не слышит та, для которой они...

А я прогуливала школу, целыми днями торчала у слона. Держала за хобот, смотрела в глаза. Курила первые свои сигаретки и ждала, когда вернется мой дядя, когда вернется она. Все понимала и все равно ждала. Люди тоже бывают как слоны.

А из школы меня собирались выгонять. Им было непонятно, им было не ясно, и как и кому рассказать, что со мной происходит? Если я и сама не осознаю, что это такое. Я люблю? Я взрослею? Печалюсь вместе со своим странным единственным другом?

Как рассказать, какие слова не отступят в бессилии, когда я открою рот, чтобы заговорить об этом?

Моя учительница, классная руководительница, отличница образования, кричала, что даже слон, хоть и животное, а умнее меня. Постыдись, девочка! И не смей на меня так смотреть! Кто ты такая? Вот он, слон, поддается дрессировке. А ты прогуливаешь, тунеядка. Про него в газетах пишут, про него фильмы снимают. А ты? Ну что же ты! Ни ума, ни сердца! Убивать таких надо... И вот отдаешь вам силы и душу, а вы... Бездари! Господи, доведете, брошу все и пойду дрессировать слонов!

А я говорила, что слон говорит: «Вон!»

И что слону хочется быть животным, а не человеком. Он устал от дрессировки. И запутался, понять не может, кто же он такой, человек или животное. И почему любимая женщина не с ним. Он измучен сомнениями, у него нет друзей, он хотел бы увидеть себе подобных, своих сородичей. Но где же они, где их взять, куда увели их пустынные пути, под каким солнцем их встретить, своих соплеменников с таким же теплым хоботом? Часто и люди не находят себе подобных, так и живут среди чужих существ. Я и сама так живу. И вы, наверное, тоже?

И сколько бы слон ни разговаривал, он никогда не станет человеком. Он, похоже, и сам понимает это. Он ведь умный слон, умный говорящий слон. Он одинок, разве это не видно?

Иногда трудно разглядеть самые простые вещи.

А я говорила, что слон говорит: «Иди вон!»

Иногда я тоже как слон, не понимаю, почему меня не любит тот, кого я люблю.

И смотрю на крохотную дверцу и жду, до оцепенения, до одурения смотрю. Как будто это может что-то исправить.

Но мы все по-прежнему стопроцентно смертны. И боли наши говорят нам, что мы еще живы.

И думаю о том, как однажды слон замолчал, но никто не понял отчего.

А он догадался, он почувствовал, что больше нет на свете той самой, ради которой он стал говорить. Так бывает, от любви говорят даже слоны и замолкают поэты...

Мучительно замолкают. Не в силах выдавить из себя хотя бы звук. Хотя бы один.

А это была сенсация. Слон замолчал. И снова журналисты и ученые, и опять ты объект для исследования. Никуда не деться!

Скажите, если можете, что же делать большому сердцу среди маленьких? Возможно, остается только молчать...

И остается любовь свою носить как хрустальный лед, обжигающий твои раны...

Не прикасайтесь! Уберите свои аппараты, здесь больше некого исследовать. Выключите свои кинокамеры, тут больше некого снимать, оставьте меня в темноте.

Снимите свои белые халаты.

Этот запах лекарств обманчив. Любимое лицо не принадлежит ни одному из вас!

Темными ночами замолчавшего слона доставали пьяный дворник и его дружки. Они пили водку у его вольера и кричали ему:

– Эй ты! Чего заткнулся? Скажи «Вон!» (Давайте выбросим матерное слово, я так решила. Пожалуйста.)

– Ну, давай, развлеки нас! Скажи! Ты, зверюга!

Я стояла и трепетала от гнева и ужаса... А слон молчал.

А они мне:

– Эй ты, чего смотришь? Эй ты, малолетка, сними трусики, дадим сигаретку! Ну чего ты! Снимай! А если платье снимешь, дадим две! Что, мало? Чего молчишь? Прикиньте, молчит, как слон.

И я молчала, как слон.

Они – оторвы, блуждающие неясные глаза, тусклые волосы, голоса треснутые, смешок чуть надрывный, в словах сор, во взгляде пыль.

Они молодые парни, сутулые спины, приземистые фигурки, разбитые кулаки...

Они смотрят как шакалы, сильные только в стае, они хохочут, чуть поскуливая.

Они...

Я смотрела на них и думала: «Батыр, ты же слон. Ты огромен и силен. Ты можешь затоптать любого из них, всех их. Ну что же ты молчишь, Батыр! Давай же! Отомсти за себя, за меня! Чего же ты ждешь? Ты же мощный зверь, на твоей спине крутится наш плоский диск!!!»

Но откуда мне было знать, что ничье любящее сердце не может убивать. Любящее сердце согласно само погибнуть, чем уничтожить кого-то. Оно даже обидеть никого не в силах. Такая в нем слабость, такое в нем могущество. Непобедимое, как те тайны, которые известны только любящим сердцам – жителям неба, потому что только в любящих сердцах скрывается оно.

А я стояла и думала, стояла и боялась, дурочка, малолетка, прогульщица, беспризорное дитя. И остаться было страшно, и уйти не могла, потому что Батыр мой друг, а вдруг эти придурки, шальные хмельные парни, сделают с ним что-нибудь! Я должна быть рядом, я должна быть рядом, я должна. И главное не трусить, повтори еще раз – не трусить, а если я струшу, то сама с собой буду в ссоре, я сама себе тогда объявлю бойкот. От этих дней и до скончания века. Нужно научиться – не бояться этих уродов. Но почему же так предательски дрожат ресницы? Что это, слезы? Господи, не дай мне заплакать, чтобы эти сволочи не обрадовались моему горю. Господи, не дай мне заплакать! Защити меня от слабости моей! Ты ведь тоже любящее сердце. Огромное любящее сердце. Я знаю, иначе ты не создал бы нас, таких больных этим чудесным вирусом. И не дал бы слону замолчать.

Иже еси на небеси, да святится имя твое...

А моя классная руководительница, обесцвеченные волосы, далеко за тридцать и не замужем, отличница образования (и так далее) звонила в зоопарк и требовала, чтобы меня не пускали. Она писала жалобы на моего дядю, на зоопарк, вызывала моего дядю в школу.

В зоопарке отвечали, что не обязаны следить за теми, кто к ним приходит, жалобы рвали и отправляли в урну. Им некогда фигней маяться. Дефицит в стране, животных нечем кормить, а вы тут с какой-то девочкой лезете...

А дядя не приходил, он искал ту женщину. Он все ездил по Таджикистану, он искал ее в списках погибших, в списках выживших. Он надеялся. На что он, дурень, мог надеяться? Станный человек...

Ему же всё уже объяснили, ему уже всё рассказали...

– Но я не видел ее могилы. И, в конце концов, произойти могло все что угодно, война это война. Не крестики-нолики, – отвечал он.

– А вот и крестики-нолики. На полях сплошные крестики, а шансов выжить – нолики, – отвечали ему.

– Я все равно буду искать!

– Что ж, ищите, этого у вас не отнять. Но учтите!

А я врала, что его не отпускают с работы. Что ему некогда.

А ему и правда было некогда... ему было некогда, ему было никогда...

Упрямый, как Батыр. Даром что человек.

А я все ходила и ходила к слону, как к тяжелобольному, умирающему другу. А кем он еще мог быть в моей дурацкой жизни? Его теплый хобот брал ласково булку с моей ладони. И мне не верилось, что где-то люди стреляют, люди умирают и ничей теплый хобот никогда... Мне не верилось, что моя страна, мой огромный Советский Союз распадается на части, что моей Родины больше нет. Такая странность. Не объяснить.

Чудеса спасают нас от обыденности, от бед, от горя. Каждому хочется встретить чудо, говорящего слона.

Когда он умер, я все не могла выбросить булку, которую в тот день принесла ему. Потому что она – ему. Потому что она для него. И сама съесть ее не смогла. И отдать никому не смогла. Так она у меня и погибла в саквояже, с которым я ходила в школу.

А та женщина так и не узнала, что случилось с Батыром, наверное, они встретились.

Может, там, за пределами своих тел, их души о чем-то говорят... Душам ведь не нужны слова и не нужно напрягать свое тело, свой хобот, чтобы сказать: «Мама!»

Слова не нужны. И молчание тоже не нужно. Потому что там другое – нечто за пределами слова и молчания, нечто неназываемое, но оно есть... как те добрые, трудолюбивые слоны, на чьих спинах все еще покоится наш горький плоский диск.

И всему этому меня научил слон.

Мой говорящий слон Батыр.

И мой дядя, который искал свою любимую во время войны, смерти и продолжал надеяться, даже когда ему сказали, что она мертва. Даже когда он узнал историю ее смерти.

И эта женщина-ветеринар...

— Я ветеринар, я не умею бросать своих пациентов...

Наверное, так и надо жить. И никак иначе.

И не бойтесь ничего, если любите.

На этом все, конец истории. Но если хотите, приходите еще ко мне, я вам много чего расскажу. На счастье, на веру, на любовь.

P. S. Ту женщину-ветеринара звали Мадина. Она была таджичка. А как звали ее маму, я не знаю. Но это не важно, важно другое...

Беречь ее, как раненую птицу в кармане...

У меня такое было. Однажды, очень давно... Мне было тогда лет десять или одиннадцать. Соседские мальчишки убивали голубя, кровь его залила весь наш двор. Голубь даже не кричал, он обессилел настолько, что вздохнуть не мог. Казалось, что он смирился с грядущей смертью. Маленькое сердце, так много чувств. Крохотное сердце не имеет защиты...

Мы с моим другом отняли беднягу, в драке, били по лицу, кидали камни, швыряли палки, рвали одежду. И кричали в лицо матом, проклинали и вопили...

Я вывернулась и схватила голубя – и в карман. У меня была огромная рубашка, перешитая из отцовской, старой, еще пахла его «Беломором». Драгоценный запах. До сих пор, когда слышу его, ноги подкашиваются от нежности: папа!

Мы с приятелем кинулись вон, прочь со двора, бежать.

А за нами погоня. Жестокая погоня. Пощады не будет.

А я бегу и чувствую, что кровь голубиная по моему телу, да-да, сквозь рубашку, сквозь жесткую ткань. Я понимаю, что он истекает, а сердце еще бьется. Бьется, перепуганное и уставшее. Крохотное сердце, и так много усталости.

Нужно только добежать до моей бабушки, она колдунья, знахарка, она знает, как спасти любое существо от смерти. Моя бабушка бессмертна, она святая, она знает с разными духами и призраками, бесами и ангелами. Она спасет.

Тяжело бежать! Дыхание уже перехватывает. Оно прерывается, как пунктир на отмеченной границе, границе между жизнью и смертью. В моем кармане происходит борьба, уйти ли этой крылатой душе в вечность или продолжить свою короткую жизнь...

И дышать уже невозможно. Горло словно проглотило наждаку.

Кровь струится тоненько, тоненько. И струйки все тоньше и тоньше.

А за нами враги, сволочи, с кулаками, со злостью, с камнями. Они хотят нас убивать! Они хотят в кровь нас, в кровь изодрать нашу кожу,

наши тела.

Мы с приятелем не сдаемся. Не на тех напали.

Убегаем. Но если придется, то вот они мы – мы готовы снова в бучу, бить в самое сплетение. Знаем, где больнее всего. На своей шкуре узнали...

А ты, сердце, крохотное сердце, стучи, стучи.

Стучи, стучи, стучи, стучи...

Ты не можешь нас предать! Не умирай, гадский гад, ты, не умирай! Потому что иначе это всё, это конец! Не уходи, не оставляй нас! Голубь, голубь, наш голубь! Живи, гад!

Сердце! Стучи! Стучи! Стучи! Стучи!

Крохотное сердце, не сдавайся!

Пусть даже если все погибло и жизнь, кажется, пошла прахом...

Все равно! Стучи! Стучи! Стучи! Стучи!

Вот так и носим в своих карманах любовь, раненую птицу, а жить ей осталось всего ничего. Понимаете, она истекает тонкой горячей, но быстро стынувшей струйкой, сквозь карман. Видите...

Но я все бегу и бегу... Не догнать вам меня, а если и догоните, то... я сломаю вам шеи, я взорву ваши тела, подожгу ваши дома, выбью окна!!!

За мою проклятую любовь, за мой лунный свет, за тень моего любимого, за, за, за, за, за...

Про змей

Однажды летом, когда мне было лет пятнадцать-шестнадцать, и моя детская грудь была парой горошин, а под мышками уже начали пробиваться пушинки, и уже появился интерес к своему телу и к неясной, но сильной зудящей жажде внутри меня, тоске необъяснимой...

– Кто я теперь? И что со мной? Откуда все это? И вернусь ли я та, прежняя, когда еще этого всего не было... И как назвать это всё, происходящее со мной? И что это такое? Почему оно внутри меня? Может быть, я сошла с ума?

Лето было знойное и печальное. В пионерлагерь я не попала, и дяде нечего было делать, как взять меня с собой, в пустыню, на станцию герпетологов, ловить змей и шататься по барханам.

И верно, не оставлять же меня одну...

И, взяв с меня кучу честных и не очень слов, выслушав все мои «ну конечно, а как ты думал, обещаю!», помня о том, что я никогда не держу своего слова и почти никогда не говорю правды, и всегда, так сказать, преувеличиваю... Он все-таки взял меня с собой. На станции к тому времени уже жили мужчины, его друзья. Они сначала с неодобрением встретили меня, но после привыкли и даже стали баловать. Привозили мне сладости из района, брали с собой на охоту, показывали редких животных и птиц, рассказывали об их повадках и прочее. Я радовалась их вниманию и не понимала, что им нужно не мое женское, что начинает только-только проявляться, а мое детское, потому что в нем – ДОМ! ДОМ, которого у них в пустыне нет.

Они возились со мной, как бездомные дети возятся с бездомным котенком.

А вечерами был костер и разговоры за красным и крепким, за травкой о них, то есть о нас, о женщинах. Смутные, малопонятные для меня, притягивающие, о любви и страсти, о сексе, о том, сколько раз, и как, и с кем. Описания тел, глаз, цвета, интонаций и прикосновений.

О господи, я, девочка-подросток, целыми днями переваривала услышанное вечером и мечтала, чтобы обо мне тоже тосковал сильный

мужчина в кругу своих друзей-братьев, в самом сердце пустыни, печальный от нашей разлуки.

А я бы холодно смотрела на него, равнодушная и жестокая, он бы пил красное вино и глядел бы на меня, с мольбой, на коленях, а я бы...

А змеи тем временем ускользали от нас, от людей, они уносили свои тела, хранящие жгучий яд, прочь, через пески и камни, в темные глубины своих нор. Мужчинам приходилось проходить не меньше десяти километров в день, чтобы настигнуть их.

Барханы, напоминающие изгибы женских тел, зной обжигает губы, и эта волна с чешуей и немигающими глазами, только попробуй схватить...

Нужно быть сапером, чтобы увернуться, если вдруг попадешься на ее зуб. А если цапнула, бери сыворотку, если же нет ее, то хватай острый нож, и рви кожу, и кровь выпусти, прижги рану и верь друзьям, должны спасти.

Говоря вечерами о женщинах, мужчины тосковали о них, как о непойманных змеях, о непознанных, не открытых, не задержавшихся в доме.

Но что эти разговоры, если все, что есть у тебя, все, что позволено тебе женщиной, это... помнить и порой узнавать изгиб ее бедра в формах бархана... Или слышать имя ее в шорохе песчаном.

Нет, не уберегся, зацепила и исчезла... Режь себя и жди, может быть, на этот раз выживешь... выжимая любовь свою, как яд. По капле, злоба, и боль, и тоска.

Любовь, как и яд змеи, может дать или смерть, или жизнь...

Зной ли кружит твою голову, или это яд начал действовать.

Мужчины у костра говорили солёности, грязные, отчаянные слова о женщинах, а однажды я видела слезы по женщине, настоящие и крупные.

И не утешить ничем, никак. И даже если ты, девочка пятнадцати лет, протянешь им свои ладони, чтобы утереть слезы, все равно это не даст покоя. Не те ладони, не то тело, душа не та. Напрасно. Знаю с тех пор....

Там, среди них, был один человек. Старше меня намного, ему было лет тридцать, а мне пятнадцать-шестнадцать. Не знаю, что это было, наверное, просто темное и древнее во мне созрело и дало свой

сок, оно налилось во мне и стало тягучим своим звоном наполнять все мое...

Я любила его запах, его мятые рубашки, его волосы лохматые и глаза, которые он прятал под челкой. Я была как слепая собака, которая ориентируется только на голос и запах своего хозяина и абсолютно беспомощна без них.

Пятнадцать лет. И никому не рассказать... Не дяде же об этом. Я в те дни очень жалела, что рядом со мной нет женщины, подруги. Я стала вровень с ними, с мужчинами, я тоже тосковала о женщине, пусть по-другому, но тосковала. И это роднило, это выравнивало, это сближало. Мужчины чувствовали это мое смутное чувство и принимали это, может быть, даже в чем-то жалели меня.

Пятнадцать лет. И самой ничего не понять. Только вопросы... Мне казалось, что где-то есть та грань, за которой начинается нечто большое, нечто настоящее, нечто такое, о чем я еще мало понимаю, но уже чувствую это в интонациях и рассказах вечерних....

Где она, эта грань, и кто поможет перейти через нее?

И вот однажды случилось... Тот человек, о котором я рассказывала, выпил чуть больше, чем нужно, и уснул в палатке. А я вошла туда, будто бы в поисках своего дяди. Увидела его, прекрасного и чарующего, сонным.

Подошла и поцеловала украдкой в губы. И он ответил на мой поцелуй, не просыпаясь. Он решил во сне, что эта она, его любимая и желанная, явилась к нему.

Он назвал меня ее именем. Ее именем. Он думал, что змея поймана и теперь ее яд даст жизнь, а не смерть. Наконец-то!

Он хотел обнять меня, но я слишком долго была среди змееловов, научилась многому, я ловко выскользнула из его рук. Если ты рождена змеей, не позволяй себя поймать.

Больно! Он назвал меня чужим именем. Меня! Он! Как быстро тот, кто притягивал, стал отвратителен!

Я выскочила из палатки. Бежала в ночь. Меня швыряло из стороны в сторону.

Мужики искали, думали, вдруг что. Дядя чуть не свихнулся. А я все неслась и неслась куда-то...

Решили в лагере, что если до утра не найдут, значит, погибла, в зыбучие пески провалилась. Нашли утром. Я упала с бархана, меня

змея укусила, несколько змей. Но моему сердцу было настолько больно, что я решила не кричать, не звать на помощь, пусть погибну. Пусть он считает, что да, победил меня, настиг. Я больше не участвую в этих битвах, в этих гонках.

Мне повезло, меня нашли и чудом спасли.

У меня с тех пор на ладонях следы от укусов змей.

После, повзрослев, много лет спустя, я сама называла кого-то чужим именем, и так же называли меня, у меня крали поцелуи, и я сама краля прикосновения и жесты, взгляды.

Как бы случайно заглянуть в глаза, мимоходом задеть твой рукав, дотронуться до твоей руки, неожиданно, сохранить ощущение от твоего тепла внутри. Скрыть. Запах твой украсть. Говорить тебе слова шепотом в темноте, дрожа от страха, что ты узнаешь мой голос.

А по барханам скользит волна, блестящая и неуязвимая... не поймать и не схватить.

Позвонить тебе и притвориться, что ошиблась номером, вслушиваясь в твои слова, ворую у тебя минуту внимания, целую минуту твоей жизни, разделить ее с тобой.

Нелюбимые, как вы суетливы, и как безнадежна ваша суета...

Зной ли кружит твою голову, или это яд начал действовать...

Я уже много лет брожу по этому миру, по этой земле. И могу сказать: да, я и сама теперь могу перестать охотиться, мой сезон навсегда окончен, я нашла необходимое мне сердце среди тысяч других, и оно точно мое.

И знаете, мне до сих пор порой среди питерских холодов грезится тот самый зной, который обжигает душу твою, твое сердце, каждый его атом, а еще та самая жаркая суета охотника-змеелова и блеск змеиной чешуи, ее серебристое мелькание и подвижное течение я вижу, когда вглядываюсь в силуэты прохожих и вслушиваюсь в их интонации.

Человек из моего детства

Глухой пастух. У него был необъяснимый, странный дар. Он умел рисовать старых детьми – какими они были в далеком прошлом.

Детей рисовал взрослыми, какими будут.

Рисовал потерянное, оно находилось.

Рисовал больных здоровыми, и те выздоравливали.

Рисовал беременных, а рядом с ними тех, кого они должны родить. Тем, у кого должен был родиться мальчик, – он рисовал мальчика, тем, у кого должна была родиться девочка, рисовал такую.

Ни разу не ошибся. Всегда совпадало точно.

Фельдшер говорила, что он Рентген, смеялась очень.

Рисовал умерших, чтобы живые помнили.

Он рисовал всех, кто его просил.

Никогда не отказывал.

Только однажды, когда его попросила одна девушка, резко отказал.

Она собиралась выходить замуж, просила только один свадебный подарок – его рисунок.

Он отказал.

Жестко.

Его уговаривали, упрашивали, обещали денег, жених обещал переломать руки, если откажет.

Нет.

Без объяснения причин.

Невесту умоляли: мы тебе что-нибудь другое подарим, чего же ты уперлась?

Невеста ответила: тогда ничего не дарите.

Хочу только это.

Гадали-думали, что же там такое случилось?

Зачем и почему все это? К чему?

Трепали языками.

Свадьба случилась меньше чем через месяц.

У нас так принято, приглашают всех, кто живет в нашем поселке, он крохотный, всего две улицы.

Все были.

Ждали глухого, когда же придет-явится?

Так и не пришел.

В его доме все время горел свет.

Но он не вышел.

Смотрел из дома. Свадьба шумела, пьяные гости носились по селу в счастливом угаре. Он смотрел в окно на все это, но не вышел.

Его звали, манили к себе размашистыми жестами пьяные.

Не вышел.

Жених приглашал невесту танцевать.

Отказалась.

Она не шелохнулась даже, ни слова, ни жеста за всю свадьбу. Ни взгляда краткого ни на кого, даже на друзей-соседей-родных. Она ни к чему не притронулась, ни глотка, ни кусочка.

Так и сидела как кукла, с белым-белым лицом.

Сплетничали о них, о женихе, невесте и том глухом, что же между ними произошло, зачем все это.

Но никто толком так ничего сказать не смог.

Осталось тайной навсегда.

После этого он перестал рисовать.

И исчез. Бесследно. Вышел из дома да не вернулся.

В его навсегда брошенном доме до сих пор находят только рисунки звездного неба.

Никаких портретов.

Прошлым летом, когда я была в Казахстане, я ездила в поселок.

Его помнят, мол, был такой человек. Имени нет, забыли, только помнят, что называли его Рентгеном. Смеются до сих пор над его странностями.

Но рисунков ни у кого нет.

Пропали.

А ведь он был нашим талисманом, к нему ходили, просили рисунок, чтобы все было хорошо.

Перед каждым Новым годом выстраивались очереди. Приводили детей, стариков, животных.

И он рисовал, и жизнь налаживалась.

Больные выздоравливали, потерянное находилось, беременные благополучно рожали.

И жизнь звенела колокольчиком в каждом, кто встречал этого странного человека.

Жизнь проходит. Дни исчезают за поворотом, и только звездное небо все так же молчаливо смотрит на нас.

Звезды всегда молчат.

Вспомнился человек из моего детства.

Эй! Я не знаю, где ты теперь.

Но я помню тебя. Я всегда помню тебя...

P. S. А та девушка и муж ее уехали из поселка в город. В городе встречала их. Детей нет, живут криво, муж пьет, а она... ранние морщинки – седина на висках, уже не разглядеть ее былую красоту.

Мы все немного лошади

Вспомнилось.

Это было еще в Алма-Ате, мы с дядей торчали в цирке, дядя репетировал, он у меня был профессиональным джигитом, делал номера на конях.

А я сидела в оркестровом гнезде, читала любимую книжку про жертвоприношения у ацтеков.

И вдруг откуда-то появился он. Виктор Цой!

У нас в городе в то время снимался фильм «Игла».

Мой дядька с Цоем были как-то знакомы. Виктор пришел посмотреть на коней, и дядя (МОЙ РОДНОЙ ДЯДЯ!!!) показал Цою, как садиться на лошадь. И все такое прочее.

Кстати, ту лошадь звали Марусей!

Цой погладил ее, похлопал по белому боку, и Маруся не стала сопротивляться. Он прокатился на ней.

А я ему потом сказала, что у тебя глаза, как у Маруси, грустные.

А Цой мне сказал, что мы все немного лошади.

А я ему сказала: а ты сам придумал?

А он мне ответил, что это не он придумал, а Маяковский.

А я сказала, что такого певца не знаю и группы тоже.

А дядя (мой родной дядя) сказал, что разрешает мне читать все, что я захочу. А если я не хочу, то не заставляет.

А Цой сказал, что обязательно подарит мне книжку такую, и я обязательно захочу ее почитать. Потому что она офигенная.

А потом мне передали книжку, и там были на обложке дарственная надпись и стихи короткие про меня и для меня.

И рисунок, где я с косичками.

А потом я таскала эту книжку всюду и везде показывала. И меня однажды чуть не убила одна фанатка, которая хотела отнять книжку.

И даже вывихнула мне руку.

Но книжку я отстояла.

А потом я много где была, много куда ездила, и прочее.

А потом Цой помер.

И я много плакала.

И дядя грустил, и Маруся грустила, и лошади с книжкиных картинок – тоже.

И у Маяковского был какой-то особенно печальный вид.

Как будто ему хочется глубоко вздохнуть, а нельзя, потому что уже памятник, и каменный, а камень – он тяжелый...

И прошли годы после всей этой истории.

И сегодня я поняла, что окончательно посеяла книжку. Перерыла всю квартиру. И ее нету.

Наверное, так нужно.

Наверное, так надо.

Но речь не про то.

Речь о другом.

Мы все немного лошади.

Вот.

Пакет учит быть между...

У меня был друг Пакет. Славный, настоящий.

Мы познакомились в школе, он попал в наш класс, яркий и злой мальчик, когда нам было по пятнадцать. Лохматый и дерзкий, с книгами в рюкзаке. Легкий и шумный, как пакет. Он писал на заборах и нагло курил на переменах. Ему было все можно и все легко. Такие бывают ребята, очень редко. Красивый и смелый, он мог опоздать на двадцать минут на урок, ему прощали. С середины урока он мог уйти, если скучно, его отпускали без слов. Трамваи останавливались перед ним сами собой, все водители знали его и радостно пускали к себе.

Тертые джинсы, пенсне вместо очков, отличник и брюнет. Он красил ногти в черный цвет, он дрался на ножах с гопниками, он ходил в мятой рубашке, на ней было слово «х...й» вышито бисером и какая-то фраза на латыни.

Его отец был археологом, а мама переводила с древнегреческого. Он вырос в экспедициях и здорово играл на скрипке.

Я смотрела на него издали и любовалась им. И радовалась, когда мне удавалось посидеть рядом с ним на переменах. У него была накладка на руке – крохотное *veritas* – истина. Про него ходили разные слухи, мол, он даже спал со взрослой женщиной. Замужней.

У него были грустные глаза и серьга в ухе. Никогда бы он не стал моим другом, если бы не...

Однажды мальчик из 11-го класса, старше меня, стал со мной заигрывать, с определенными целями. Честно сказать, не далась я ему в тот жуткий вечер, и страшно было и непонятно как. То есть примерно понятно, но как? И я отказала ему.

А наутро я пришла в школу и узнала, что одиннадцатиклассник растрепал по всей школе, что на мне пробы негде ставить, и сама с ним, и к нему, и на него...

И все смеялись, и гадостно шутили, и мальчишки лезли ко мне с намеками и прочее. А Пакет подошел к одиннадцатикласснику и молча дал в рыло. А потом сказал, что он мой парень и кто меня тронет, тому он отвесит.

И как-то от нас все отвалили. Мы с ним дружили, если это можно назвать дружбой. Он тянул меня по математике, таскал меня на концерты, приучил слушать джаз и рок. Обрезал мои косы и юбки. Научил курить и лазить по скалам. Он научил меня ждать его, тихо и спокойно, когда он уезжал один автостопом куда-то или уходил в горы на несколько дней один с палаткой. Без истерик и звонков, без слез и криков. Спокойно ждать.

Он научил меня приезжать на вокзал, когда хочется побыть между прошлым и будущим, между настоящим и выдуманым. Быть между и не бояться.

Он учил меня слушать музыку, растворяться в ней. Научил пить водку и не закусывать. Научил целоваться и разным другим штукам. Например, идти долго-долго по дороге, когда темно и холодно, и ветер, и радоваться, что снег такой пушистый и падает на наши головы. А еще он приучил меня к мысли, что я всегда живу на Луне.

Он говорил мне, что я похожа на мальчишку, на маленькую разбойницу из «Снежной королевы». Однажды мы с ним украли табельное оружие его деда и стреляли из него по банкам. Я поранила его, и потом мы ехали в больницу, и кровь хлестала, а Пакет смеялся, а я плакала, а он смеялся, наверное, от болевого шока или потому, что хотел меня успокоить...

В юности всегда так. Больно и радостно. Мы тогда много смеялись. Мы много кричали от радости и переполнявшей нас силы.

А еще он всегда учил меня жить не привязываясь. Как будто твой человек в горах или в автостопе. Ждать спокойно, без боли.

Да, мы были изгоями в школе. И наши родители не понимали нашей дурацкой дружбы. Моя мама стеснялась, когда он приходил в нашу общагу. Все-таки профессорский сын. Археолога сынок, не хухры-мухры!

Его мама старательно делала вид, что не замечает, что я гопница, она кивала моему бреду, мол, Бах – это клево и очень круто. Папа тяжело вздыхал и дарил книги. Книги читались с трудом, ночами.

Пакет был единственным сыном. Любимым. Настолько любимым, что когда нас забрали в милицию за то, что мы однажды на старой площади нацепили на себя вентиляторы и приставали к прохожим с криками «дайте Карлсонам варенья... мы внуки Карлсона», его родители приехали за нами в отделение.

Мои же запретили мне дружить с Пакетом, они решили, что меня отправят к тетке в Казань – заканчивать школу, а то этот мажор испортит девочку.

Пакет кричал мне в окно, чтобы я не уезжала, что нам будет клёво вместе. Нет, мы не любили друг друга, мы просто были друзья. Так бывает. Он всегда держал меня за руку, когда я пугалась.

А потом у него случилась болезнь. Он заторчал, стал глотать колеса, сел на них так, что даже он сам понял, что это наркомания и он болен. От него все отвернулись, Пакет начал тырить вещи и все, что плохо лежит, он резко похудел и стал врать, чего никогда не делал.

Под глазами появились синяки, он бросил учиться. Он стал забывать себя, каким был раньше, его уносило от меня на льдине. Я готова была последовать за ним и тоже некоторое время пробовала колеса. Мне хотелось быть с ним вместе, в его мире, даже если там кроме воровства и ломок, вранья и боли ничего нет. Слишком страшно было оставаться без Пакета, без его руки, которая всегда.

Но он ведь был моим другом. И не пустил меня в свою болезнь. Он сделал все, чтобы мы расстались. Мама перевела меня в другую школу.

Пакет не закончил школу. Он умер. И у всех нас, даже у его мамы, было такое чувство, что он тяжело болел, а потом вылечился. Как будто пришло какое-то избавление для дорогого нам человека. Очень всё легко получилось. В начале мая. Он научил нас быть свободными от него, просто быть свободными.

Прошло две зимы, мама нашего Пакета родила мальчика, и он был один в один похож на брата... как будто тот вернулся, а может, и в самом деле вернулся.

И сейчас этот мальчик ходит в школу. Он очень яркий и ничего не боится. И может врезать любому козлу. Потому что он, как и я, внук Карлсона.

У меня ничего не осталось от моего друга, только привычка убегать на вокзалы, чтобы побыть между... и никогда не праздновать дни рождения, ничьи. И свой тем более.

И всегда оставаться на Луне, там, где он меня оставил.

Мой дедушка Акира Куросава

Когда-то моя бабушка работала в лагере, где содержались пленные японцы. То ли помощницей повара, то ли помощницей врача, не помню точно. Она никогда мне толком об этом не говорила. И многие подробности этой истории мне неизвестны.

Так вот, она в то время уже была замужем, но муж ее где-то сидел, за то, что оказался в плену. А она была в лагере и встретила там его, неизвестного нам японца, красивого и юного, чуть старше восемнадцати. Он носил очки, пожалуй, только они да маленькая флейта были всем его богатством. Он увидал мою молодую бабушку и как с ума сошел, стал за ней ухаживать.

Камни ворочал, создавая для нее сад камней, то иероглифы, словно прекрасных пауков, рисовал перед ней на песке, то играл какие-то заунывные японские мелодии на флейте. То вдруг принимался вырезать каких-то непонятных человечков из дерева или складывать бабочек из бумаги.

Малограмотная советская девушка удивленно следила за его суетой и испуганно шарахалась от его очередных подарков. Букетов странных и даже коню в корм негодных.

И колдовала она каждую ночь, чтобы отворот сделать ему от себя, чтобы отвернулся и забыл о ней. И не помогало это никак. И вскоре она и сама поняла, что выделяет его из толпы и втайне ждет его новых выходов.

Однажды она подошла к нему, сама обняла и поцеловала. И как-то их тела сами договорились между собой, без слов.

А потом японцы уехали. И он уехал со всеми. И остаться не мог, и кто бы позволил. И она бежала из лагеря с животом, скрывая его, боялась, что накажут за такую связь. За ребенка боялась, чье сердце билось вместе с ее сердцем.

Затем она вернулась в свой дом, родила малыша. И когда вернулся муж, она честно ему все рассказала. И он простил, и понял, и готов был и дальше делить с ней жизнь. А она не смогла и не захотела. Она хотела того, кто построил ей сад камней и вырезал те самые фигурки, с которыми теперь играет ее малыш.

У нас остались только его очки, на которых тушью был написан какой-то иероглиф, имя этого человека.

Прошло много лет, и вот уже мне было пятнадцать, я была тощая, пугливая и застенчивая девочка. После уроков мы с моим другом Пакетом торговали цветами на рынке. Я уже рассказывала про Пакета. Я как-то рассказала ему свою историю, она была самой главной историей тогда в моей жизни. Он усмехнулся криво, как это умеют панки, мол, ага, представляю, как там гормоны кипели, четыреста мужиков и одна баба! Тут любая красавицей покажется.

Мы с Пакетом поссорились и подрались. А потом помирились, и он стал сам просить меня, чтобы я опять и опять рассказывала ему эту историю. Все-таки он был сентиментальным чуваком, этот наш панк – Пакет.

Однажды в нашем дворе появился Студент. Ну, конечно, какая история с девочкой-подростком обходится без Студента? Все-таки жизнь состоит из банальностей. И меня они не обошли стороной. Студент, едва узнав о моей японской любви и об очках, тут же признался, что он учится на востфаке, на японском отделении и готов за долю малую перевести мне текст с очков.

Мне было мало лет, но уже тогда я знала, что ничего в этом мире не бывает бесплатно. И несколько дней подряд я откладывала и ждала триумфа, вот теперь откроется тайна! Моя милая, моя рыжая бабушка с огромными зелеными глазами, я узнаю твою тайну, я открою твой секрет. И кто знает, может, мне удастся накопить денег на билет в Японию и найти там своего деда, может, он еще жив? А вдруг у меня там есть родные?

И вот деньги за перевод таинственной надписи собраны, с большим трудом и большими лишениями. И я надела свое самое нарядное платье, и заплела особенно туго свои косы, и взяла из дома очки, те самые, и пошла туда, к Студенту.

Студент сначала внимательно пересчитывал деньги. А потом посмотрел на меня и на очки. Он долго смотрел на них, а потом сказал, что на них написано – Акира Куросава. Твой дедушка – Акира Куросава.

У меня просто палуба ушла из-под ног! Я знаю тайну, мы с отцом не сироты, мы знаем, кто мы и откуда! У нас есть имя! У меня есть имя! Я Куросава! Куросава!

Откуда тогда мне было знать, что это имя режиссера и что даже деньги, заплаченные за услугу, ничего не гарантируют, а бывает, что и наоборот...

Мне было пятнадцать лет. Через год я узнала, что этот Студент учится на биофаке, где уж точно не учат японский! А еще через десять лет я увижу фильмы Акиры. Все, один за другим. Я буду смотреть на экран и запоминать каждый кадр. И буду пересматривать фильмы снова и снова. Снова и снова. И скоро билетер в Доме кино начнет узнавать меня в лицо, а, это та самая ненормальная! Та самая, которая...

А еще, бывает, японские туристы в Питере принимают меня за свою, подходят и пытаются говорить со мной по-японски, а я только киваю в ответ. Я не знаю ни слова.

А очки пропали, потерялись в долгих переездах... и тайна имени так и осталась нераскрытой. Но, видимо, так надо...

В доме у меня есть книги про пленных японцев в СССР. Там множество фото, и среди них мой дедушка, вот только кто он? Может, этот с краю, очки и невысокий рост, подходит! Или этот слева? Кто?

Однажды я встретила того самого врача, который работал вместе с моей бабушкой в лагере... Он многое рассказал мне о ней, и про то, как любил ее, и какая она была тоненькая и пугливая, рыжая девушка с зелеными глазами. Но это другая история, о ней позже. В другой раз.

Позвони мне

Мне в жизни всякое запомнилось. Ну, например, у папы был один друг, молодой такой парень. Однажды он подвозил девушку. Так вот, пока вёз, влюбился. Ну, бывает, сами знаете. И она в него. Сначала она, когда села к нему, просила до перекрестка. Доехали они, значит. А сами ни слова между собой, только немножко друг на друга посматривают. Он остановился. Она не выходит, молчит.

Он:

– Ну, вот твоя трасса.

Она:

– Можно еще с тобой проеду?

Проехали. И еще чуть-чуть. Но он не мог ее с собой оставить, ему нужно было на базу в горы груз везти, а там начальство проверять будет, а пассажиров нельзя брать. И расстались они. И только в горах он понял, что они друг другу ничего не оставили, ни телефонов, ни адресов, только имена.

И тогда он стал всегда на ту сторону проситься, если направление выбрать можно было. И везде, где проезжал, из камней на земле надписи оставлял, огромные, чтобы из космоса было видно: «Света, позвони мне!» – и телефон рядом. И она, может быть, даже звонила ему, только какая разница, он все равно всегда в дороге: он дальнбойщик, у него профессия такая. Его никогда нет дома.

Ну а теперь он старый, наверное. Он, наверное, сейчас в общаге этих самых дальнбойцев. Представь себе, полная общага мужиков, в основном молодых. Это ведь свихнуться можно. Кругом мужские рожи, как в монастыре или в тюрьме, например. Убиться просто.

Ну, у них, конечно, свои традиции есть. Например, отвальные. Приехал кто, нужно отметить. А ведь это как на вокзале: все время кто-то приезжает, кто-то уезжает. Он чуть не спился, этот мужик. Но ничего, стал фигуры из дерева вырезать и по трассе ставить. Он, оказывается, мечтал скульптором стать. С детства.

И как-то приехал он в один городок, а там музей, что ли. Ну, он туда. Дай посмотрю на красоту. Приходит, а там его фигуры. И какой-то мужик в очках в женском платье туда-сюда ходит. Перформанс,

говорит. Типа современное искусство, чтоб его так. Ну, наш-то, не мешкая, как дал промеж глаз!

А фигуры, надо сказать, странные. То корова с крыльями, то коза в балетной пачке или девочка с воздушным шариком, только вместо веревочки шампур железный. А на шарике ангел сидит. Еще у него огромный руль был, то есть баранка, и руки на ней, и была еще беременная пионерка.

Ну, это так уже, к слову.

Замуж самостоятельно...

Одна моя тетя открыла курсы, как самостоятельно выйти замуж. Причем она сама никогда замужем не была, но зато курсы открывала. Проходили они в маленьком кабинете, где не было ни столов, ни компьютеров, зато кофе море, и только для нее.

А у тех теток, которые приходили к ней, были такие глаза, как будто они должны успеть в последний переполненный автобус. В принципе, их дела именно так и обстояли. Особенно мне запомнилась одна из теток, такая в маленьком куцем пальтишке, в очках, шапочке такой куцей. Да она и сама была какая-то куцая. Она, наверное, считала себя женщиной-вамп и думала, что у нее супермодная шапочка. Тоже мне модная шапочка, ни тебе норки, ни тебе хорька или песца, а так, «гибель тушканчиков».

У этой дамочки была ярко-красного цвета папка, в которой была суперкрасная тетрадка. И фото с толстым лысым мужчиной с огромными очками.

– За него хочу! – строго сказала дамочка.

– Вас понял! – таким же тоном сказала моя тетя. А так как она бывшая физкультурница, то построила баб и начала делать круговые движения, да и вообще зарядку. И комментировать, что это успокоит их нервы и поможет фигуре.

Гибель Тушканчиков нервно все фиксировала в свою ярко-красную тетрадочку ярко-красной пастой.

Затем тетка устроила для них курс гаданий. И всем поголовно обещала замужество. А я у нее работала разведчиком, выясняла незаметно для клиенток их матримониальные возможности, отношения на работе, старые связи, наличие заинтересованных лиц и так далее. А тетя с помощью гаданий давала умственные советы. И часто помогало. Если же гадание не совпадало с действительностью, то моя тетка кричала: «Да выйдешь ты замуж, выйдешь!»

Клиентка рыдала: «Когда?!»

Тетя невозмутимо отвечала: «Откуда я знаю? Я гадалка! А не Гидрометцентр, чтобы точные ответы давать! А выйдешь, это точно!»

И тетки уходили замуж. Просто все как с конвейера. И Гибель Тушканчиков тоже. После чего цвет ее папки и тетрадки стал не столь ярок, поспокойнее.

Поэма тишины

А другой у меня дядя был вольный художник, из неоцененных. Знаете, как бывает: никакого образования, ничего, но при этом дико, знаете ли, одаренный, по профессии он чабан. Вот и пасет он, значит, коров и пишет потихоньку свою «Великую поэму Тишины». Слова складывает, строчки, записывает в потертую желтую тетрадочку, которую никто никогда не прочтет.

И вся жизнь у него в ней. Вон куда уходит он от своих забот и тревог, вот где находит одинокий пастух утешение. Целые дни бродит он по желтой степи и ищет самого себя. Мимо в сонности и лени бредут одинокие коровы. Те, чьим цивилизирующим началом он должен быть. Но ему не до них, он совершенно занят, у него поэма. Он пишет.

Но коровы при этом даже как-то пасутся самостоятельно и молоко дают. С таким необычным привкусом. Это оттого, что они, вероятно, все-таки вникли в поэму...

А еще он мечтал в свое время стать дирижером. И даже учился в консерватории, там, в городе.

Ну и что, недоучился, ему оставалось два курса. И вдруг выяснилось, что его мать тяжело больна. Он, разумеется, сорвался с места и понесся в поселок. И целых три года ухаживал за нею. А потом померла она. За что бесконечное ей царствие небесное.

И вот остался он, к учебе вернуться не может, и профессии нет, один на свете белом оказался. И тогда устроился он пастухом, завел желтую тетрадочку, а заодно жену и, сам не знает откуда, неожиданно множество детей. И куда же от этого деться, конечно, только в спасение желтого цвета.

А еще ему долго-долго снилась та жалкая комнатка в коммуналке, в которой он ютился, пока ходил в консу. Мимо дома пролетающие товарняки, престарелая хозяйка, которая кошку любила больше, чем людей. И когда он, семнадцатилетний мальчик, простыл и лежал с температурой сорок, она, точнее ее полоумные внуки, включали музыку на полную громкость и ругались, почему бабушка купила ветчины, а не сервелата. Так оно и было.

И никому из них не пришло в голову просто принести воды человеку, который не может встать с кровати. А дочь хозяйки, которая больше беспокоилась о шапке, чем о собственной душе, верила, что где-то на другом конце мира живут инопланетяне, которые когда-нибудь придут на эту грешную землю. А в Бога она не верила, нет. Инопланетяне как-то понятнее, даже роднее, что ли.

Вообще, это была странная семейка. Дети кричали на старших, старшие ругали прошлых жильцов, начальство, бывших мужей, соседей. И все хором говорили о еде. Бесконечно и только о еде.

А у пастуха была тетрадка с практически пустыми страницами, на которых бережно хранилась Тишина.

Синяя коробочка

Это случилось давно. Еще в моем гребаном детстве, среди рабочих общаг и пустых дворов. Мы были детьми вечно занятых родителей, мы выросли с ключами на шее, как, впрочем, и все в те годы.

Вечно усталые, измученные и сонные... Запах химических веществ, морщинки, как ранняя весна – холодные и тусклые.

А еще у нас много и часто пили.

Глухонемое детство. Когда до твоих слов, мыслей и чувств никому нет дела. Никто не слышит, никто не говорит с тобой.

Никаких писем с того света...

Никаких писем с этого...

Тишина, пыль, молчание...

Моя мачеха работала в кинотеатре киномеханицей, крутила пленки, показывала сны. Она много курила и часами болтала по телефону. У нее были рыжие соломенные крашенные волосы и облезлый лак на ногтях, мятые мини-юбки и стрелки на колготках.

Она приводила меня в этот кинотеатр, сажала в будку к киномеханику и уходила куда-то. Это были самые счастливые мои секунды. Были и остаются.

Кино – круглые сутки. Разное. Мое. Комедии и триллеры, детективы и мультики. Даже то, что до 16, до 18 и вообще до...

Мне было можно все. Потому что никому нет дела.

Это, наверное, и есть та самая настоящая свобода.

Фильмы... все мое время, все мои мысли занимали только они. Фильмы-сказки, фальшивые и пустые. Где добрая фея отвратительно добрая. А злая – не менее отвратительно злая.

Фильмы – любовные мелодрамы со счастливым концом, в которых хотелось жить.

Фильмы-тени, фильмы-кошмары, фильмы – общие сны, разделенные ни с кем и с каждым, кто посмотрел с тобой его в темноте зала и влюбился так же сильно, как и ты, в это мелькание теней на пустынном экране.

А еще было какое-то кино про шпионов. Названия уже не помню. Я его видела раз двадцать, если не больше. И раз сто как минимум пересказывала своим друзьям во дворе. Мы влюбились в шпионов, мы мечтали найти их и стать ими.

Но шпионы в нашем мире не водились. А в мире шпионов не было нас. Казалось, что жизнь сломана и напрасна. Действительно, зачем влечить существование, если в твоей жизни нет шпионов?..

И вдруг нам повезло! Нам – воробьям, купавшимся в пыли, – судьба вручила настоящее сокровище, восхитительное богатство, сияющее и манящее.

Чудо сокровенное!

Он поселился в нашей общаге. Он был седым, печальным стариком с наколками по всему телу.

Но не это главное! Это чепуха! Мы таких сколько угодно видали! Вся соль в другом...

Говорили, что он всю жизнь провел в тюрьме, что он убил свою жену, своего брата и ещё мента при исполнении. Представляете, какой простор для тайны и тьмы!

А теперь вот почему-то... он у нас. Он настоящий!

Это тебе не Дед Мороз! Борода из ваты.

Это настоящий убийца! Самый! И он живой! Он наш!

Нам завидовали все! Дети из квартирному дома с лифтом! Их чертов лифт даже сравнивать было смешно с нашим божеством с пепельными волосами, с погруженным в себя взглядом.

Ребята из общаги напротив, где жила лысая женщина, просто плакали. И даже тот факт, что их удивительность (лысая, как воздушный шар) видела самого Виктора Цоя, никак их не спасал.

А мы пели и сияли. Вот наконец-то у нас появился ОН – наше доказательство того, что мы – подвальные крысеныши – все-таки имеем право на...на... на что там мы имеем право?

Мы сами стали шпионами, как мечтали. Мы следили за ним целыми днями, в нашем черно-белом кино появились краски. Мы докладывали о его перемещениях и действиях в специальный штаб (нами же созданный). Мы писали отчеты и рисовали карты. Мы стали дрессировать прирученную нами бездомную собаку Берту, чтобы она научилась брать след. Но Берта брала только сосиски.

Мы были счастливы, как никто и никогда. Если хотите сделать своих детей счастливыми, подарите им живого убийцу. Немедленно!!!

Мне поручили писать о нем стенгазету и летопись.

– Мои слова стали кому-то нужны! Ура! – Сияющие белые бабочки вспорхнули в моей голове.

Это гораздо круче, чем журналы «Бурда моден», которые есть у тех ребят из дома с лифтом!

А еще (нет, все-таки судьба определенно благоволила к нам!) у нашего убийцы была какая-то невероятность! Синяя-синяя коробочка! Он смотрел в нее и вечерами, и днями. И то смеялся, а то грустил.

Таинственное нечто в синей-синей коробочке. Мы пытались узнать, что там, нас это волновало со страшной силой. Просто «есть ли жизнь на Марсе» какое-то...

Мы строили гипотезы, выдумывали истории, взламывали подсознание, ловили догадки и идеи из воздуха.

Современные сериалы – ничто по сравнению...

Непонятное, неизвестное, пугающее... Нечто в синей коробочке.

Мы жаждали заглянуть в бездну, мы страстно желали, чтобы и она заглянула в нас...

Был даже план украсть эту чертову коробочку.

Но...

А вы рискнете подойти к убийце и...

Ну хотя бы к его дому?

То-то и оно...

Блин! План провалился! Как же попасть к моей прелести?

Молчание. Знак вопроса. Тревожное многоточие.

– А что, если просто подойти и спросить? – предложил один из малышей.

Ему в ответ рассмеялись.

Неизвестно, чем бы кончилась эта история, если бы однажды не...

Убийца умер. Во сне... В молчании. Без последнего слова.

Его похоронили тихо, без поминок и слез. Его не любили и знать не хотели. Никто, кроме нас, его верных поклонников и неизвестных ему друзей.

Мы плакали. Мы горевали.

Противники злорадовались. Еще бы, ведь их лысая женщина была жива, а лифт прекрасно себе ходил как всегда и не застревал ни

разу, сволочь!

Мы снова погрузились в наш глухонемой мир. Но это погружение было больнее. О нашей беде говорили все, и даже ленивые...

Но его синяя-синяя коробочка не пропала даром. Ее положили к нему в гроб, не открывая ее. Так мы и не узнали, что в ней. Тайна осталась тайной.

А потом мы даже собирались сбежать из дома. От всех. Но лето кончилось. Пора в школу. Все закрутилось-завертелось. Не унять. А потом выпал первый снег. И как-то так сам собой вопрос о побеге отпал.

А теперь, через годы, я понимаю, что мы были детьми солнца. И наше черно-белое кино было цветным, и что у нас была настоящая свобода. И еще, что жизнь прекрасней в цвете.

Вот и вся моя история...

Берегите свои синие коробочки.

P. S. Да, и еще, я больше не люблю фильмы про шпионов, и с тех самых пор мне больше не хочется жить в кино.

Про великана

Есть у меня короткая история. Про самого высокого человека в СССР! Конечно, вы можете обвинить меня в том, что это все городские легенды, байки. Но скажу от всей души: я очень в эту историю верю. А кто не верит, пожалуйста, никто не мешает вам не верить!

Так вот, когда я была совсем мелкая, мой дядя всегда-всегда рассказывал мне мою самую любимую историю про живого великана. Будто бы рост у него был невероятный и жил он у нас в Алма-Ате. И звали его дядя Вася. И считался он самым высоким человеком в СССР и, наверное, даже во всем мире! Дело было после войны, в 50-х. Говорили, что вроде родом он из чеченцев, или армян, грузин, азербайджанцев. Даже корейцы пытались причислить его к своим. И украинцы, и молдаване, греки, казахи. Все-все пытались.

Настоящего имени этого человека я и не знаю, «дядя Вася» – оно ведь русифицированное. Но слухи ходили, что вроде он Валико, или Вазген, или Валид, или Валихан. Или...

С таким носом большим, что на его горбинке могла уместиться целая стая воробьев! Он носил свою маму под мышкой, обычные жители были ему по колено, одной левой он мог остановить авто, летящее на огромной скорости.

Он честно пытался найти себя в жизни. Все искал место под солнцем. Да никак у него это не получалось. Посудите сами...

Была у него мечта – в кино сниматься. Его как-то даже пригласили, в фильм про войну. Так это же курам на смех. Неловким движением плеча он мог сбить самолет, в танк он не помещался, коленки торчали, да и сами танки ему были чуть больше ботинка. Ползти по-пластунски он не мог, занимал полполя, во всю ширину кадра. Маршировать в ряду его не брали. Потому что остальные солдаты казались по сравнению с ним ясельными малышами.

В окопы он не помещался. Они ему так, по щиколотку. Что воробью – по колено. Его пытались снимать в сцене, где его, советского солдата, окружили и стараются захватить в плен сволочи-фашисты. Так он фашистов в пылу и азарте вхождения в роль случайно перебил.

Выгнали его из кино.

Пошел он тогда в армию. И оттуда его погнали. Вот, ему говорят, представь себе, что это не чучело, а противник. Иди и стреляй в него. А дядя Вася отвечает: «Живой он, а я по живому не могу. Не умею я по живому».

И есть мяса он не мог. Оно ведь бегало, дышало, любило. У него детеныши могли быть. Так и питался зеленью.

Его маленькая мама все переживала. Куда же его девать?

Устроился он на стройку работать, маляром. Там, где бригада со стремянками и лесами неделю возится, там дядя Вася за час все делает, без стремянки и без лесов. Сказали ему: «Портишь ты нам показатели. Мы на твоём фоне разгильдяями выглядим. Нам за это по шапке настучат».

Говорили, что пока моста через реку у нас не построили, он вброд ходил и на руках всех желающих переправлял. Людей, скот. Мог даже двух коров одновременно перенести, одну на одном плече, другую на другом. Как котят.

Все его любили. Чудо какое. Детям нравилось на нем кататься. И прижаться к его огромной теплой груди, послушать, как бешено и громко стучит его бесконечное сердце. Посоветовали добрые люди дяде Васе в спорт идти. В волейбол или баскетбол. Или штангу поднимать.

Так и там он всем всё испортил. То, что для других рекорд, для него баловство одно. Никаких соревнований с его участием не получается. Он всегда сильнее всех. А если он на поле вышел, то команде можно загорать. Куда же такое годится? Никуда! Тут-то и встретился ему старенький кореец, наш знаменитый фотограф. Он на рынках, на базарах промышлял, фотографировал желающих. С ученой мартышкой, со змеем, на фоне морского курорта, намалеванного на серенькой ткани, пальмы, стол с виноградом, морские волны, дельфины.

Кореец нанял его к себе. Дамы с восторгом бросались сниматься с таким красавцем. Он и сам был рад. Пользовался успехом. Вот только кавалеры этих дам все мечтали набить морду нашему великану, потому что дамы с легкостью пера влюблялись в него, а про них, про кавалеров, и думать забывали.

Как-то блекло они – мужчины – смотрелись на его фоне. Как лилипуты у Гулливера.

А еще говорили, что, когда он приходит к портнихам, греческим женщинам, то берет их на руки, они помещаются, хрупкие и нежные, на его ладони, он поднимает их, чтобы они могли измерить его плечи и шею, для выкройки (им самим не достать без его помощи). Они шьют ему одежду – феи, нимфы – тонкими иглами своими. И ткани уходит столько, что можно было бы одеть в нее целый детский сад. И еще осталось бы на школу и институт.

А в его обуви могут дети поместиться и кататься в ней с горки или плавать по рекам, как в лодках.

Но не было любви у Великана. Такой любви, которая греет душу. Он нравился женщинам, и девушкам, и даже старушкам нравился. Но никто из них, мелькающих перед фотоаппаратом старого корейца, не грел его сердце своей тоненькой ладошкой.

И вот однажды в нашем городе появилась грузинская семья или армянская. Не знаю точно. Знаю только, что про них шли упорные слухи, и небезосновательные, о том, что они князья, потомки лиц, приближенных к императору. Будто бы их сослали к нам именно за то. Будто бы они все в лагерях сидели и все такое прочее.

Прекрасная девушка была с ними, крохотная и гордая, волосы до земли, огромные глаза с длиннющими ресницами как у лани. Тонкая талия, изящные пальцы. Все мужчины сошли с ума по этой барышне.

Она шла по земле, и цветы распускались под ее ногами.

В окна высыпали ротозеи и зеваки, машины останавливались, и трамваи сбавляли свой бег. Она могла одним движением пальца остановить жизнь в нашем городе. Чаровница.

Старый кореец притащил Великана, дядю Васю, и свой немудреный скарб под окна этой семьи. Обещал бесплатно сфотографировать. Только бы девица согласилась. Князья долго молчали, нахмутив свои седые брови. Тысячелетние традиции требовали трепетного отношения к себе. Девица же, увидав дядю Васю, смущенно опустила взгляд, она взволнованно ждала ответа князей, что же скажут старшие. Ей очень хотелось к нему, к Великану. И он вдруг покраснел. Наверное, впервые в жизни.

Девице разрешили сняться с дядей Васей.

Они вцепились друг в друга взглядами и долго не отпускали рук. Князя неодобрительно бросали фразы на своем языке.

Она сбежала с ним в тот же вечер. Просто открыла окно в темноте, а он стоял под ним, он принял ее на свои плечи и унес в ладони, как лепесток абрикоса.

Мужчины радовались, когда он женился. Женщины плакали, когда он женился. Мужчины рыдали, узнав, что женится он на княжне, женщины радовались, узнав, что его невеста – княжна.

Они жили долго и счастливо. И было у них множество детей. Но великанов среди них не было. Потому что великаны вообще очень редко рождаются. Они как пушкины, или антихристы, или спасители мира, или пророки. Очень редкие в наших краях, да и на земле нашей тоже.

Великан все-таки нашел свое место в жизни. Он стал самым лучшим ремонтником сломанных фонарей. Он бродил по улицам и выискивал те самые, что не горят. И неизвестным никому хитрым способом делал фонари фонарями, и, пока он был жив, в нашем городе ночами никогда не было темно!

Это хорошо, когда много света в сумерках. Тогда и не заблудишься. И не потеряешься. И ничего плохого с тобой не случится.

Великан бродил по городу, носил на плечах своих детей и под мышками маму и жену.

А когда он умер... когда его бесконечное сердце отработало свой срок и решило отдохнуть навсегда... Так вот, после его смерти выяснилось, что он продал свой скелет и свои органы разным медицинским музеям и институтам. На исследование и все такое прочее (это чтобы поднять многодетную свою семью, денег-то всегда не хватало). И вот примчались ученые, как вороны, за его организмом. И суды начались. И все только и говорили, что об этой истории.

Великан и правда, может, смошенничал, чтобы денег оставить после своей смерти многодетной вдове своей. А может, и просто не разобрался по неграмотности своей. И случайно наляпал такое.

Дети его судились и рядились, кому какая доля от продажи органов и прочего должна им достаться.

И правда, не у каждого в этом мире большое сердце. И не каждому дано быть великаном.

А вдова тихонько украла тело своего мужа и тайно ночью вместе с верными друзьями вынесла его хоронить. Несли они в темноте бесконечный гроб, такой бесконечный, что старый кореец мог поселиться в нем вместе со всем своим народом. Она в последний раз коснулась его сердца своей тоненькой ладошкой, вспомнила, как когда-то грело это трудолюбивое, огромное, любящее. Опустила свои длинные ресницы, смахнула слезу и простилась с ним навсегда.

С тем, кто носил ее, беременную, как румяное яблоко, в своих руках.

Фонари весь вечер, всю ночь, и все утро, и весь день горели над нашим городом. И никто из ремонтников ничего с этим не мог сделать. Они не понимали, что фонари провожают грустно и нежно своего хранителя и чинителя. Это последний торжественный салют для своего любимого друга. Провожать, если навечно, так провожать.

Да уж, иногда техника знает больше, чем люди.

Говорят, что его могила где-то в горах прячется между яблоневых деревьев. Не найти никому. Хотя знающие люди утверждают, что на виду она, целый холм.

Под которым спит тот, кто плечом мог столкнуть самолет, а на ноги надеть танки вместо домашних тапок.

И когда я брожу по Алма-Ате и вижу все эти горящие фонари, вспоминаю сразу дядю с его историями и этого великана. Верю, что он на самом деле был!

У нас всегда горят фонари! Всегда-всегда! А еще, все-таки трудно, когда у тебя бесконечное сердце...

Сердце дракона

Он мальчишкой-подростком был, когда случился голод в казахской степи. Голод такой, что люди стали есть людей.

30-е годы, страшное время, многие бежали с родных земель, кто в Китай, кто в Турцию, кто куда. А его семья никуда не сбежала, не успела, померли все от голода, от болезней.

А он один не погиб, потому что знал, чувствовал где-то глубоко — не имеет на это права. Он — последний из рода великих охотников. Его цель — выжить, вырасти, корни пустить в землю, плодиться и сохранить род. К жизни тянулся мальчишка, всем своим сердцем.

Скитался, воровал, жил где придется. А потом попал на шахты уже парнишкой, там и осел. Вскоре и женился — на сестре своего друга, с которым в шахту каждый день спускался.

А через пару лет ребенок у них родился. И счастлив стал человек: вот теперь-то он не последний из рода, есть у него наследник!

Но случилась война. И ушел наш парень снайпером, не зря же охотничьи навыки имел, ничего не забыл, да и вынослив был невероятно.

Во время войны хорошо служил, бил врага, за меткость и храбрость получил ордена. А потом вернулся домой и сменял ордена свои на винтовку, чтобы семью кормить, чтобы стада пасти, чтобы волков бить, чтобы для новых детей, что они с женой родят, место было, и мясо, и теплый дом.

Жена скоро забеременела, и уже тяжелая и круглая, как крохотная планета, сияла она по вечерам ему навстречу. Жили они счастливо, уничтожал он волков, пас стада колхозные и строил дом.

Кто стукнул про ордена, неизвестно. Так и попал наш снайпер куда следует. И стал, полуграмотный, бумагу заполнять. А так как никогда он толком не учился, то и писал как умел: букву из арабского, букву из латинского, букву из кириллицы, рисовал там, где написать не мог, — волков, детей, фашистов проклятых, винтовку и жену беременную. Сел, и знал только одно: и в лагере выжить должен! Ведь он отец уже двух наследников его рода, и стать этим наследникам

охотниками возможно, только если он научит их всему. Вот и выживал как мог.

Вышел на свободу. Достроил дом, жизнь тянулась, детей плодил... Был здоров всегда.

И только когда хоронил внуков, которые из Афганистана в цинковых гробах пришли, впервые заболело у него сердце.

Пришел он к доктору, к старому китайцу, который травками лечил. Тот глянул на него и сказал, что ничем помочь не может: у тебя, мол, сердце дракона, это когда вместо сердца одни только шрамы.

Старик и это пережил, и тянулся к жизни он, вечный охотник, и радовался, что остался у него единственный внук – последний из рода, тоже охотник.

Я вот думаю: а он про что жил? О чем были его мысли? Над чем он шутил? От чего радовался? Все это кануло теперь в темноту.

От человека не остается ничего, в лучшем случае имя. И навыки стрелять по волкам и не останавливаться, даже если только одна пуля в запасе, а зверье окружило и хочет рвать твоё тело на части, потому что голодно ему в степной зимней стуже, а ты молод и не имеешь права умереть...

А кто имеет? У кого есть такое право?

Хотя чего я вру-сочиняю? Кровью передается что-то от отца к сыну, от матери к дочери, что-то очень древнее... Может быть, это стремление жить? Любопытство? Или доверчивость?..

И, конечно же, что-то телесное – к примеру, ресницы, нос... Или глаза... Что-то из тех времен, когда нас еще не было, но когда мы уже были.

История про Новый год

Это было очень-очень давно. Я училась на журфаке, я была такая маленькая студенточка, лохматые волосы, драные джинсы, серый свитер, на курсе меня называли Мурзилкой, потому что я печаталась в детских изданиях. Так вот, у меня была несчастная любовь, мальчик с исторического, Алишер. Он играл со мной в известную игру – «Стой там, иди сюда!». То есть люблю – не люблю, не люблю – люблю. Нужна – не нужна, нужна – не нужна.

И так далее.

И вот, после того как он в пятый раз ушел от меня навсегда, он вдруг появился и прислал сообщение на пейджер: «Ты прости меня, я понял, насколько ты мне нужна, я люблю тебя, а давай вместе отпразднуем Новый год?»

И я поверила. А как могла не поверить, меня ведь качало от одного звучания его имени, мне он грезился в каждом силуэте, мелькнувшем вдали.

Итак, я бросила гостей, я поссорилась с друзьями («ты чокнулась, ты себя не уважаешь, ты ненормальная, ну и катись, только потом не приходи, не ной»). Я помчалась к нему, нет, не так, я помчалась к НЕМУ. Я бежала не разбирая дороги, я забыла шапку и шарф, и снег, ветер нахлестом – в лицо. А я даже не застегнула куртку, я бегу. Такое счастье.

ОН ведь ОПЯТЬ МЕНЯ ЛЮБИТ! И все равно, сколько это продлится. Главное – то, что есть сейчас. И солнце снова горячими капельками разливается в моей крови.

А на часах уже 10 вечера.

И вот я уже в его подъезде. Я уже в лифте. ЛЕЧУ ВВЕРХ К НЕМУ!!! И вдруг лифт застревает, просто намертво. А уже праздник в самом разгаре, я слышу, как все веселятся.

А на мой пейджер пришло его сообщение: «Можешь не торопиться, я передумал, я от тебя ухожу, ты меня достала. Пошла вон...»

И тут я заревела белугой. Вот ведь черт!

В лифт постучали.

Голос пожилого человека спросил:

– Вы плачете? Вам плохо? Что случилось?

– Лифт застрял, и мне не вырваться, а еще меня бросил самый любимый человек.

– Что ж, бывает. Но все еще образуется, поверьте. А пока пойду попробую позвонить диспетчерам.

– Спасибо.

Через некоторое время. Тот же голос:

– Там никто не берет трубку. Это понятно, ведь Новый год.

– Ничего страшного. Спасибо за помощь.

– Это понятно, но что же делать? Неужели вы так и будете здесь сидеть?

– А куда мне деваться?

– Ну да, ну да. Я сейчас вернусь.

(Он принес стул и тарелки оркестровые.)

– Я всегда мечтал быть музыкантом, играть на рояле, но умею только на тарелках.

Старик играл для меня на тарелках, пел «В лесу родилась елочка».

– Простите, барышня, а вы любите поэзию?

– Да. Например, Маяковского, Олжаса Сулейменова, Блока и Рембо.

– А Вертинского?

– Кто это?

– Вы не знаете? Неужели не слышали никогда?

– Нет.

– Я сейчас.

Через некоторое время у моего лифта зазвучала пластинка. Я впервые услышала Вертинского. И Козловского, и многих других. До утра этот человек был со мной.

Он говорил. Он утешал меня. Рассказывал о своей жизни.

– Мой отец был врагом народа. Моя мама, чтобы спасти меня, быстренько с ним развелась и от него отказалась. Он сам ее заставил это сделать. Сказал, что главное – спасти сына. Мы бежали в Казахстан. Мама правильно все рассчитала, там, где полно репрессированных, вряд ли будут искать. А уже началась война.

Я отстал от нее на вокзале в Алма-Ате. Искать не решился. Помнил папины слова. Главное – выжить, прятаться, но выжить.

Найдемся потом, когда все это кончится.

Меня забрали в милицию. Там сидела какая-то пожилая женщина-казашка, она хорошо говорила на русском, очень стеснялась меня допрашивать, но больше некому, все мужчины ушли на фронт. Сказала, что она пианистка, когда-то училась в консерватории, кажется в Москве. Но теперь такое время, не до музыки.

У нее был огромный флюс, болел зуб. На щеке старенький платок повязан. Она очень смущалась. Робко совала мне сухари, просила, чтобы поел. Там было много детей. Кто-то из них просто потерялся, ревел, а подростки бежали на фронт. Их ловили, а они снова бежали.

Я назвал чужую фамилию, чужое имя. Она оформила на меня какие-то бумажки, и я оказался в детском доме. А потом я сбежал и оттуда. Познакомился с Кречетом. Был такой знаменитый вор-карманник. Просто виртуоз. Он меня учил, что публику надо уважать.

— Уважать?

— Конечно! Теперь-то, нынешние, этого не умеют. Рвут-режут почем зря куртки и сумки, вырывают из рук, портят вещи. А Кречет учил, что если вынул кошелек, то закрой за собой сумочку. Нашел документы, подбрось в почтовый ящик. Не воруй у инвалидов, детей, беременных, стариков, у нищих. У него была целая школа.

— Да он просто Робин Гуд.

— Напрасно иронизируете, милая девушка, он был профессионал. Мастер!

— Простите меня.

— Ничего-ничего. Просто теперь не очень-то принято уважать мастеров. Менеджеров много, мастеров нет.

— А как вас зовут?

— Александр.

— А как называла вас мама?

— Аристарх. Но меня давно никто так не называл.

— А можно мне?

— Да.

Мы с Аристархом слушали музыку, разговаривали. Это было очень здорово.

А потом, когда пробило двенадцать, он принес какую-то швабру, чуть-чуть раздвинул двери лифта и в образовавшуюся щель просунул

мне соломинку, чтобы я через нее выпила шампанское. Я глянула на моего спасителя.

Это был человек в возрасте. Нарядно одетый, черный пиджак, сорочка, шляпа и галстук. Все с иголочки.

– Ух ты! Вы так здорово выглядите!

– Спасибо. Все-таки я ведь к девушке иду!

– Но ведь это не свидание!

– Ну и что! Кречет учил – уважайте публику! Я иду к девушке, я ее уважаю, значит, и выглядеть должен соответственно.

– Спасибо.

– Да не за что.

– Я у вас столько времени отняла.

– Ну, во-первых, я потратил его с удовольствием, а во-вторых, если бы мне было с кем еще его тратить... Не с кем. Я один остался в Новый год. Так бывает.

Аристарху все-таки удалось вытащить меня из плена. Воровской опыт не прошел даром.

– А вы всю жизнь были вором?

– Нет. Только в юности. А так я часовщик. И антиквар. Больше всего я люблю часы. Мне нравится, что тиканье в часах похоже на то, как стучит сердце у человека. Тик-так, тик-так. Если разрешите, я хотел бы пригласить вас к себе. Не бойтесь, мы просто выпьем чаю, в подъезде было холодно, я бы не хотел, чтобы вы простудились.

И мы пошли к нему.

Это была чудесная квартира. Множество картин, удивительных часов, патефонов и музыкальных шкатулок, древних фотоаппаратов, книг и разного рода редкостей. Это был просто праздник.

Я слышала миллион чудесных историй про войну и любовь, про раненых солдат, про Кречета и других знаменитых воров, про послевоенную Алма-Ату и другое.

Мы пили чай из старинных фарфоровых китайских чашечек. Аристарх показал мне настоящую чайную церемонию, которой его научили китайцы, бежавшие от культурной революции...

Он разрешил мне померить одежду 20, 30, 40-х годов, шляпки и платья, туфельки. Все эти сокровища из его невероятной коллекции!

Я стояла за ширмой, сделанной из самого настоящего шелка, расписанного вручную. Я чувствовала себя самой красивой на земле.

Лучше, чем Мэрилин Монро, точно!

Это все было настолько сказочно, что я до сих пор улыбаюсь, когда вспоминаю ту ночь и то утро.

А тем временем мне на пейджер опять пришло сообщение: «Какой я был дурак. Приезжай ко мне срочно, давай опять будем вместе».

Но я никуда не поехала, мы с Аристархом взяли молоток и разбили мой прекрасный пейджер на куски. И это было счастье.

А потом мы немного дружили с Аристархом. И это было самое лучшее время в моей студенческой жизни.

Но однажды, приехав к нему опять, я увидела, что его волшебной старинной двери с огромным замком нет. А на ее месте какое-то металлическое плоское уродство. Позвонила. Через дверь мне ответил женский голос, что такой-то здесь больше не живет. Кто я? Я его внучка! Я его наследница! А ты кто?

И действительно, кто я? Я засмушалась и сказала, что я никто.

И убежала.

Больше я никогда не видела этого человека. Но часто про него вспоминаю.

Спасибо вам за все, Аристарх!

Вы были чудесный!

И солнце, и весна, и умирать не хочется

Позвонила моя подруга Вера, говорит, дедушка умер. Тот самый, который в лагере сидел. Там он оказался еще совсем мальчишкой, лет восемнадцать от силы ему было. Сидел по доносу, а за что еще люди тогда сидели? Умер пожилым человеком, старинным, как деревья с глубокими корнями.

Страшно умирал старик. Представьте себе: живете вы свою жизнь и уже почти прожили ее, у вас уже внучка замуж выходит, и уже университет окончила, и дитё в животе у нее. И зять будущий любит ее, и на руках носит, и ждет не дождется свадьбы.

И дочка ваша, и муж ее любят вас, и кошки дома, и дом домом пахнет, и радости много, и солнце, и весна, и как-то умирать не хочется. И... и... и...

Многоточия... многоточия...

И вдруг в доме вашем поселяется сосед. Вы вглядываетесь в его лицо и узнаете, что он тот самый, который донос на вас накатал из-за комнаты в коммуналке, из-за жилплощади, так сказать.

Как там у Булгакова? «Ну, что ж... обыкновенные люди... квартирный вопрос только испортил их...»

И вы перестаете спать ночами, выслеживаете, в какой парадной, где? А дом большой, старинный, и парадных в нем много.

Руки трясутся, дыхание перехватывает. А ведь сосед-то ваш ничем не поплатился, и всё у него ладно, и дети у него с внуками. И внуки – бизнесмены, вон – их машины под окнами. И квартира у него будь здоров, и карьеру сделал.

И ничем, ничем не поплатился. Речь даже не о возмездии, а о покаянии. А его нет и не было! Дети и внуки ваши даже и не сомневаются, что так оно и должно было быть, мол, время было такое: или ты, или тебя. Выжить надо было. Было... Было... Было...

Далось им это «выжить»!

И честно, я не знаю, может, я первая побежала бы стучать, если бы прижали мою семью или саму меня? Кто знает твердо о себе, как он себя поведет, случись такие минуты?!

Одно знаю точно: беды горькие и опасные ситуации многое открывают в людях, и часто друг оказывается «и не друг, и не враг, а так»...

Так вот, старик этот – лагерный сиделец – вдруг сам не свой стал. «Я ему скажу, я ему покажу! Я вот пойду и кааааак!..»

И нож взял из дома кухонный, и выяснил адрес. Стоял у парадной и ждал, когда придет доносчик. Сквозь домофон не прорваться, там всякие коды от неожиданных гостей, которые, как известно, хуже татар...

Беременная внучка с зятем, родителями и кошками бежали по двору, искали и звали. Пили валерьянку всей семьей. Ужас какой, а вдруг и правда зарежет?

Наконец доносчик вышел. И дети его, и внуки.

И вот стоят они друг напротив друга и молчат, сказать ничего не могут, хотя слов накопилось – вон, к горлу подступили, коготками царапают, воронья стая. Да не вырваться им, словам.

Что делать? Разошлись молча, сердцами об гранит, в кровь, в ключья, в боль и холод.

Старик-сиделец заболел с тех пор. Сердце, и нервы, и душа, мучился сильно, страдал, простить не мог.

Отпустить и освободиться? Честно, вот я бы, может, и не удержалась, и тоже не простила бы, и зарезала бы врага-стукача, случись со мной такое. Не знаю я отпущения грехов, не умею быть всепрощающей, покаяние знаю, бывает у меня такое, сама каюсь, а вот других прощать не умею.

Дедушка долго болел, целую весну, а под конец ее помер, в середине мая. Подруга сказала; вот, звонила только что...

Город у нас такой, верно, – холодный и каменный, и всякие тут истории бывают. Например, вот эта случилась.

Я и не думала, что старик поправится и выживет, – нет, наивной надежды не лелеяла! Знаю: от такого не лечатся, от такого или освобождаются, что труднее всего, или умирают.

Вот он и умер.

Мы вместе переходим черную-черную ночь

Она – незрячая женщина.

Одинокая стареющая дама.

Она (*тихим шепотом*): Вот сделали лифт у нас новый. Поставили такой, что его почти не слышно. Раньше был – помнишь? – громыхал. Слышишь: кто-то приехал, а кто-то уехал. Жизнь вокруг. Когда кто-то живой есть рядом, не так печальна темнота и не так грустна. Всегда, если слышала шум у лифта, тихо желала тому, кто едет, счастливого пути. Радость такая и грусть, как будто я на вокзале – встречаю всех путешественников и провожаю в путь, и от моего слова зависит, какой будет их дорога. А мне слова не жалко. Всем – счастья!

А теперь что? Тихий лифт, бесшумный.

И как будто я одна во всем мире. Как будто умерли все. Как будто в моей жизни осталась только темнота и вокзал мой навечно закрыли.

Не люблю я нанотехнологии.

Но знаешь, у меня есть утешение – в квартире сверху поселился какой-то человек. Кто он, я не знаю, но думаю, что мужчина, судя по голосу. Мне нравится чувствовать запах его одеколона, когда он проходит мимо, а еще прикосновение его руки, когда он помогает мне выйти из парадной.

А еще я люблю ночью слушать, как скрипят половицы под его ногами и разные другие звуки его бессонницы. Телевизор работает, музыка играет, телефонные звонки. Иногда я слышу обрывки слов. И стараюсь угадать, что там происходит, у моего соседа. В такие минуты я чувствую, что одиночество отходит и я не одна на белом свете. Мы вместе не спим, вместе переходим эту черную-черную ночь. Вместе переживаем ее долгие часы.

Мне очень нравится уговаривать его, когда бессонница, таким шепотом ласковым:

– Что же ты не спишь, солнце мое! Засыпай, засыпай же скорее. Если случилось что-то плохое, вспомни о том, что оно обязательно пройдет, и легче станет. Всё пройдет. Всё проходит.

Ничего не останется.

Ничего не остаётся.

Не рви свое сердце. Спи. Спи. Спи.

А потом все в его квартире затихает, я понимаю, что мужчина утихомирился, и сама ухожу спать.

И на душе у меня легко-легко.

Всем спокойной ночи, всем доброго сна.

Я вас слышу. Я вас слышу.

Я рядом. Всё пройдет. Всё проходит.

Не останется и следа.

Ты моя кузенька...

Улица, зима. Два пожилых любящих друг друга человека – он и она. Дорогу спрашивают в собес.

Волосы седые, шляпы, ветер пытается растрепать шаль женщины, мужчина подходит, запахивает непослушными пальцами непослушную шаль. «Ты моя кузенька...» – говорит.

Ласковыми пальцами укутывает, руки в морщинах.

Ветер сильный, сильный. Кажется, собьет с ног.

«Ты моя кузенька...»

В голосе его – волнение. Горло у меня перехватывает от нежности в их глазах. Как же они смотрят друг на друга!..

Годы прошли, дети-внуки выросли, волосы серебрятся.

«Устала?» Она кивает. «Ну, потерпи еще немного, малыш, осталось чуть-чуть. Ты моя кузенька...»

Она улыбается, смотрит ему в глаза и улыбается.

Она просто улыбается.

И он счастлив.

И она счастлива.

Нежно касается его лба пальцами, выбившуюся прядь поправляет.

Осторожно.

А потом они уходят.

И ветер-ветер...

Кажется, собьет с ног...

А они идут, они идут, они всегда-всегда рядом.

Всегда-всегда.

Я видела любовь, я видела счастье.

Настоящее.

Оно существует. Оно вот такое.

Когда глаза в глаза. И ничего не страшно...

И улыбаются.

И ласковый шепот.

И ничего не страшно. Ничего.

И неважно, сто лет вместе прожили или встретились на один только миг: она увидела его на остановке, они улыбнулись друг другу,

а потом он сел в автобус и уехал навсегда.

И больше ничего. Никогда.

Не важно.

Правда, это не важно.

«Ты моя кузенька...»

Кино про любовь

Была я недавно у знакомого режиссера в гостях. Он когда-то учился во ВГИКе, снимает фильмы-презентации, рекламу всякую. Показывает мне свою новую работу, рекламный фильм про какую-то сеть аптек. Просит помочь с фильмом, не клеится, глянь, выскажись, посоветуй.

Смотрим, кино действительно не складывается. Чего-то не хватает. Рядом сидит бабушка режиссера, молча смотрит. Затем бежит к телефону и хвастается: «Мой внучек снял кино про любовь». Кладет трубку, садится на свое место.

Внучек:

– Бабушка! Ты про какую любовь говоришь? Там же про аптеку.

Бабушка:

– Нет, про любовь! И еще про какую! Там вот улица у тебя снята, а по ней мой отец на фронт уходил, а мама его ждала. А вот тут, видишь, справа школа, а за ней роддом был, раньше, теперь снесли, я там твоего отца родила. А вон там дерево... У него твой отец с твоей мамой познакомились. Они мне сами показывали. Так что ты, внучек, хорошее кино снял, про любовь.

Вот она, сила искусства. Это ты сколько угодно можешь верить, что снимаешь про аптеку, а на самом деле...

Жили мы терпеливо

Встретила одну пожилую женщину, пьяненькая была, как у нас говорят – кусенькая.

Она вдруг взяла меня за руку и сказала шепотом:

– Мы с Васей жили хорошо. А потом разошлись. Он женился на Тане и жил с ней, пока не померла.

И в день ее сороковин пришел ко мне.

И мы с ним того – в койку, конечно, да.

Он от тоски по Тане. А я – потому что люблю. Он меня всю ночь Таней называл, пьяный был, туманный.

Всё любил ее.

А я терпела, потому что его люблю и жалею. Где любовь, там и жалость.

Ну, после мы, конечно, сошлись и стали жить.

Я – потому что люблю, а он, чтобы с ума не сойти одному.

Ну да, затем как-то привык.

И дети у нас пошли. Выросли и стали жить сами.

Где они теперь? В Америках, да! В Европах.

Как-то очень быстро мы состарились, и Вася помер.

А так никогда не любил. И на смертном одре за то прощения просил, Да за такое разве просят?

А он шептал:

– Прости, что не любил. Я ведь всю твою жизнь, можно сказать, исколошматил... потому что Таня...ох, далась она мне, врезалась она в мою душу... А что поделать, вроде как и жизнь прошла...

А я любила.

Дом держала, детей рожала, за мужа тряслась. Да где оно? Всё далеко...

И вот теперь иной раз проснусь, чую, что грустно моей внутренности женской без него-то...

И сама себя руками поласкаю, успокоюсь по-бабьи и сплю горько-горько.

Но все-таки думаю, а вот как все-таки хорошо мы с Васей жили...

Терпеливо.

Терпеливо жили.

Он меня терпел, я его.

Терпеливо мы жили.

Да.

Она отпустила мою руку и ушла качаясь.

Пьяненькая.

И стало вдруг так солнечно и тепло, и весь день был хороший...

Потому что откликается...

Недавно встретила я Марину Васильевну. Она бравая старушка, питерская! Отважная женщина-морж! В тот день она купалась у нас на озерах в Сосновке.

Марина Васильевна говорит мне:

– Я прыгнула в воду и поплыла. И вдруг заметила на берегу собаку бездомную, черного водолаза. Она увидела меня и тоже – в воду: меня спасать. Она думала, что я тону. И долго плыла рядом, думала, а вдруг человек станет тонуть?

У нее инстинкт, у нее рефлекс, у нее воспитание.

Человек прогнал, предал и обманул, а все равно надо его спасать, потому что ньюфаундленды для того и рождаются, чтобы спасать, и плевать, даже если сам бездомный и голодный, и что лучший друг... да что там...

Я плыла-плыла и стала замечать, что собака трясется – то ли с голодухи, то ли еще с чего... вижу, трясет ее.

А может, просто давно не была с кем-то рядом, теплоты человеческой не видела.

Бездомные собаки – они жизнью битые, горестные.

И тогда я выбралась на берег – поняла, что только так она за мной вылезет, спасать псину надо. И да, точно, она за мной. Смотрю – живая. Исхудала только. Я ей – бутерброд, она смотрит, боится взять. Но все-таки взяла. И после мы уже вместе пошли домой.

Ее теперь зовут Марфа. Потому что откликается.

А что еще?

Я бродила возле голубятни, у нас на Гражданке, там голуби в небо улетают, а дети сидят на земле и смотрят. И мамы с колясками стоят, а в них спят младенцы.

Мамы тоже смотрят в небо и говорят о молоке.

А мимо бродит старый облезлый кот и грустно думает о том, что же такого он сделал в прошлых жизнях, за что в этой его теперь нещадно кусают блохи. О карме, в общем. А о чем еще можно думать, когда ты старый уставший кот?..

А еще у нас долго-долго были дожди, а теперь кончились. Впрочем, сегодня немножко капало, ну совсем немножко.

А еще...

Шла мимо какого-то старенького дома и услышала, как играют на баяне и песню поют два стареньких человека – старушка и старик.

И подумалось: «Это, наверное, запись... Или радио».

Оказалось – нет. Живые! Пьяненькие, да. Стоят на балконе, раскачиваются и поют.

А внизу во дворе на веревках белье сушится.

Только оно не сушится – оно уже прокисло давно от дождей, про белье это забыли сто лет назад.

И все равно – баян звучит и дым коромыслом.

«Может, я была в трансе?..»

У нас в доме живут три старушки. Дружат всю жизнь.

Элла Иванна, Нина Ираклиевна и Рената Альбертовна.

Элла Иванна сплетничает сегодня с Ренатой Альбертовной о Нине Ираклиевне.

Элла Иванна: У Нины духи с таким запахом, как будто цветы обкакались. Или как если бы арбуз стошнило. Ты можешь представить себе арбуз, у которого токсикоз, ему плохо, его тошнит? Так вот, у Нины духи пахнут именно так.

Рената Альбертовна: Но прости меня, милочка, Нина больна, она после инсульта. Как ты можешь?!

Элла Иванна: Могу! *(Достаёт список.)* Так, лекарства мы ей купили, продукты, газеты... Надо купить духи. И не какие-нибудь, а приличные. А то можно подумать, что перед нами не женщина лежит, а анти-женщина! Да, и еще нужно косметику покачественнее приобрести.

Рената Альбертовна: И куда же она пойдет после инсульта вся надушенная и накрашенная, наряженная? Куда? Она и ходить-то не может.

Элла Иванна: Пусть не ходит – пусть лежит! Но ведь она женщина и должна себя уважать. Да-да, лежать в постели одна и уважать себя!

Три старушки. Ни детей, ни мужей, ни родных – никого.

Одни на белом свете. Нищие, никому не нужные.

Дружат. Ссорятся, убиваются друг по дружке, мирятся и снова ссорятся. Сплетничают, мне друг на друга наговаривают.

Просят прощения.

Просят не покупать им продуктов. «Мы сами».

Просят не открывать перед ними двери. «Мы еще не сдаемся».

Просят не поддерживать за локоть, когда спускаются с лестницы. «Мы еще бодры».

Наряжаются в траченные молью шубейки. Надевают бусы, вуали, колечки.

Мужчины до сих пор оборачиваются, почуяв тонкий, нежнейший аромат их духов (на самом деле старушки смешивают дешевенькие, но как, в какой пропорции – большой секрет).

Я так не умею, я по сравнению с ними – пацан-беспризорник.

Рената Альбертовна кричит на Эллу Иванну: Я тебя ненавижу! Ты упала с лестницы, не могла встать, почему же не позвонила мне? Или хотя бы в скорую?!

Элла Иванна: У меня сбилась челка. Да еще и тушь потекла. И потом – стыдно признаться – на чулке пошла стрелка. Я же не могла позволить, чтобы кто-то меня увидел в таком состоянии! И я как-то сумела, сама доползла домой. Я ведь идеальная женщина!

Она готова была в одиночестве ползать по грязной лестнице, только бы никто не увидел стрелку на ее чулке! Но и умереть она не могла себе позволить, потому что дома осталось несколько платьев, которые она еще не надевала! Как же она может умереть?! Нельзя! Нужно ползти!

«Я идеальная женщина!»

Элла Иванна снова кричит на Ренату Альбертовну: Рената! Мы собирались в кино! Вчера! Почему ты не пришла?!

Рената Альбертовна: Должна быть во мне какая-то загадка или нет? Может, я была не одна?! Может, я ушла в раздумья! Может, я была в трансе, видела тонкие миры? Я дама с высокими духовными запросами, наконец!

Элла Иванна кивает, соглашаясь, а потом грустно молчит.

На самом же деле...

...Однажды я была в квартире у Ренаты Альбертовны, когда она попросила меня помочь ей занести какую-то тяжесть. Я помогла. И, зайдя в коридор, увидела множество мелких бумажек с надписями: «Дверь – хлебница – ванная – вода холодная – вода горячая – туалет – радио – телевизор – включить – выключить».

«У меня слабая память. Но я стараюсь ничего не забывать. И я смогу, у меня всё получится, у меня много сил...» И так далее.

Рената Альбертовна рассказала мне, что учит иностранный язык. Что у дамы с высокими духовными запросами должен быть интерес к другой культуре. Я сделала вид, что поверила.

Передо мной открылась картина борения духа. «Я не умру. Моя память меня подводит, но я не сдаюсь. Я всё смогу. Я стараюсь».

Рената Альбертовна. Рената.

Элла Иванна, конечно же, все это знает и понимает. Но делает вид, будто верит, что Рената была в тонких мирах, а не...

А кто знает, может, и вправду была.

Они цепляются за жизнь и часто поддерживают меня, когда я переживаю из-за того, что очередной журнал отказал мне, или из-за того, что не получается с работой или поссорилась с подругой. Или... да мало ли какие «или» бывают в жизни? И самое главное – поддерживают, когда дочка болеет...

Рената Альбертовна и Элла Иванна ругают меня:

– Не вешайте носа, милочка!

Говорят по-французски, дымят тонкими сигаретками.

Нина Ираклиевна спросила меня по телефону:

– Что вы сейчас читаете, милочка? Дама всегда должна беспокоиться о своем чтении...

На краю жизни, когда за восемьдесят, ноги не ходят, память отказывает...

Нет же: «Я идеальная женщина», «Тонкие миры...», «Беспокоюсь о своем чтении...» Так и живут.

И все-таки – живут.

Кофе маленький и дама с платочком

А какие у нас новости? Да никаких. Ну, к примеру, были недавно выборы, ну вы знаете... Выборы президента России.

Кстати, мой знакомый американец утверждает, что в США можно голосовать за кого хочешь, и даже за Микки-Мауса, и каждый раз после выборов есть определенный процент проголосовавших так. И даже обсуждения происходят такие серьезные, на тему роста процента таких голосователей. И что делать Америке, если вдруг победит Микки-Маус?..

А еще было 8 Марта, терпеть его не могу. Я взяла денежку и пошла себе в магазин за тряпочками, типа это подарок от милого. Милый мне так и сказал: «Иди и сама себе выбери что-нибудь, ты лучше знаешь, что тебе нужно...»

Походила я в магазине и купила платье, самое безумное, яркое и ненормальное. Очень люблю такую странную одежду.

А еще я там встретила старушку, невероятной элегантности. Она стояла перед прилавком с какими-то идиотскими платочками, очень дешевыми и жутко ужасными, бракованными, с какими-то пятнами и кривыми краями. Так вот эта дама нежно взяла один из них, как-то так легко и быстро покрутила в руках, завязала узелочек, и получилось потрясающе красивое украшение на шею. И сразу как-то и цвет заиграл, и пятна куда-то исчезли, и вообще что-то восхитительное получилось у нее в руках.

Я так не умею, я так не могу, наверное, я никогда так не сумею.

А даме просто захотелось праздника, а дама просто одна, и дома никто не ждет.

А дама смела и отважна перед лицом одиночества, она духами подушилась, она платочек на шею купила, она сейчас денежку сберегла, и ей на праздничную пышку хватит и даже на кофе, маленький.

А дама смотрит радостно и не киснет. Дама ноготочки подкрасила и одета с иголочки. Дама волосы покрасила, дама цветочек пристроила себе в петлицу, дама сумочку бисером украсила и губы – розовым, и реснички подвела.

Я так не умею, я так не могу.

Это ж какую силищу внутреннюю надо иметь, чтобы жизнь прожить в нашей стране и на старости лет вот так, легко, едва ли не танцуя, на каблучках. И в здоровом уме и в светлой памяти!

И когда выборы – только фикция, а жизнь твоя с самого начала ничего не значит и цену имеет ломаный грош и ржавую копейку в базарный день.

Когда по всем каналам только развлекательная мишура и попса, когда дороги и улицы кривы, как судьбы. Когда каждый день – зима и утро понедельника, когда, когда, когда, когда...

Когда у тебя на груди орден и цветочек, а ты еще скопил себе на праздник копейку на пышку и кофе маленький.

И не грустно тебе, потому что ты знаешь, что вот весна скоро, и лето за ней, и, может, ты доживешь до тех дней, когда можно будет взять свой старенький, но очень ухоженный кружевной зонтик и уехать на переполненной электричке куда-нибудь к озеру и посидеть под деревом, глядя на воду.

А платочек тебе нужен очень-очень, чтобы морщинки на шее было чем прикрыть и в зеркало взглянуть бодрыми и зоркими глазами. И в мир, на людей глядеть так же.

Эротическая Роза

Моя знакомая дама Рената Альбертовна (я вам про нее говорила) во цвете своих восьмидесяти девяти лет («Я не кокотка какая-нибудь, чтобы свой возраст скрывать. И пора бы понять, что лучше я не буду скрывать свой возраст, чем он начнет скрывать меня») собирается создать «ВКонтакте» свою собственную страницу. И псевдоним выбрала – Эротическая Роза.

«Девочка, девочка... Я пережила две войны, Чернобыль, пожары последнего лета, я много чего пережила. И теперь имею полное право баловаться.

В конце концов, могу я побыть хотя бы остаток своей жизни в целительном маразме и совершить пару-тройку актов оптимистического идиотизма?»

Эротическая Роза! А что вы хотели? «Ешь ананасы, рябчиков жуй?»

Кстати, прекрасное название для группы поддержки анорексичек. Надо бы создать... – Рената Альбертовна шутит, не унимается, ее ничем не проймешь.

Ты хотел со мной состариться?

Шли мы с мелкой вчера по улице. Мимо идут старичок и старушка. Старушка боевая, стремительная, руками размахивает – командует.

Старичок за ней плетется: у него нога болит, у него спина болит, у него всё болит!

Он стонет, он плачет.

Старушка строго ему выговаривает:

– Не плакать! Не ныть! Как ты понять не можешь, чучело, что если ты ляжешь, ты сдохнешь? Двигайся, чучело! Двигайся, не сдавайся!

– У меня, кажется, сейчас попа отвалится! Пожалей меня!

– Тебя? Жалеть! Сопли подбери! Вперед, шире шаг! Живи – не помирай – двигайся.

– Ну, миленькая!.. Не гони, подожди!

– А какого хрена ты говорил пятьдесят лет назад, что хочешь со мной состариться? Вот и на, получи, старься сколько угодно!

Воистину, мы в ответе за свои желания.

А записи на диктофоне остались

В Алма-Ате есть у меня друг, очень близкий мне человек, Ахмет. Он очень отзывчивый и добрый парень, мы с ним вместе учились. Так вот, однажды у нас в универе проводился конкурс на лучшее сочинение и победителя обещали напечатать в газете и подарить ему диктофон. Ахмет оказался лучшим.

Вручили ему приз, и поехал парень домой на каникулы, в маленький поселок на самом краю страны. Дома его ждал только дедушка, отца и матери у Ахмета нет – так случилось. А дедушка пожилой, еще в войне участвовал, в той самой Великой Отечественной. Был рядовым солдатом, дошел до Берлина.

Приезжает к нему Ахмет, в руках черная коробочка, а в ней кассета и кнопки сверху, яркие, красивые.

Дедушка:

– Это еще что такое?

Ахмет:

– Подарили. Смотри, здесь нажимаешь, тут крутится, а вот сюда говоришь. А потом опять нажимаешь, и – слышишь? Голос звучит. Слышишь?

Старику игрушка понравилась, и стал он с ней неразлучен – просто как маленький ребенок с котенком. Повсюду с собой таскал. И чего-то шептал туда, и стирал, и снова говорил. Ахмет тихо посмеивался, но диктофон не забирал.

После каникул он привез в Алма-Ату множество кассет с дедушкиным голосом. Наивные, трогательные записи.

До сих пор у меня в руках расшифровка и перевод с уйгурского (это его родной язык). Диалоги пожилого на свете человека с самим собой. Мысли на краю жизни, на краю вечной темноты.

– Интересно, а вот мне внук альбом показывал, картины разных художников из Европы. Там ангелы, голые младенцы с крыльями. И как они не мерзнут в небе?

– А вот эта самая башня, которая падает все время? И зачем людям только надо такое строить? Что, ничего нормального построить было нельзя? Бывает же...

– Чем дольше живу, тем все меньше и меньше боюсь смерти. Только за внука тревожно, а так спокойно очень на душе.

– Прошлая жизнь кажется сном, будто и не со мной, будто видел ее в кино. Только иногда лица снятся, такие, из прошлого, из моего прошлого.

– Почему-то любимые женщины как-то даже равнодушно вспоминаются, и память о них не волнует. Если бы предложили увидеться с ними, встретиться – отказался бы. Все пылью покрылось. Интересно, а если случайно столкнулись бы где-то, вздрогнуло бы мое сердце или нет? Может, я чего забыл, а оно помнит себе в глубине, тихонько?

– Вот если помру когда, хочется сильно, чтобы не плакал никто и не тосковал. Я прожил долгую и честную жизнь. Воевал честно, в поле работал честно, сына растил, внука. Годы были разные, урожайные и не очень, но семена я сеял отборные и сил не жалел. И сад после меня останется богатый, и земля ухоженная. Честно жил, может, кто и добром вспомнит, а не вспомнит, ну так что ж... И все-таки жаль, внуку в городе жить хочется, не станет он в саду копать и ни к чему ему земельный труд.

– Приезжал как-то внук с девушкой. У нее волосы, распущенные по плечам, и джинсы рваные. Городские все мечутся, свободы ищут, как будто есть она в рваных джинсах... Непонятно все это мне...

– Телевизор люблю смотреть, прогноз погоды. Там женщина такая в очках, причесанная как раньше. А «МузТВ» не люблю. Нет там причесанных. Одни лохматые.

– Никогда раньше у нас по телевизору столько жрущих людей не показывали. А теперь, что ни включи, все едят и едят. То майонез, то шоколад, то сосиски и колбасу. Все едят и едят, едят и едят. К чему это все?

– Вот ходил я на базар, купил там журнал, газету. Думал, новости почитаю, узнаю, чего в мире делается. А там новостей только, как одна звезда развелась с мужем и любовника себе завела, и еще там всякое вроде этого. Что один певец напился и с кем-то подрался и всякое такое. Я в доме искал бумаги на растопку, нашел газетку старенькую, а там статья про доярку. У нее дети маленькие, и любимая работа, и учеба. Улыбается на фотографии. И никакой тебе грязи. Улыбается

красивая женщина, которой нравится жить. Даже обидно стало, такого теперь нет. Вот кому теперь нравится жить?

– Все-таки женщины в длинных юбках гораздо сильнее меня привлекают, чем женщины в коротких. А женщины в брюках вообще не нравятся. Интересно, почему так?

– Некоторые мужики легко напиваются в одиночку, а я не могу. Нет, один не могу!

– Нравится, когда в доме есть маленькие котята. Люблю их гладить. Внук смеется: «Тебе бы, дед, пенсию выдавать котятами!» И почему же внуки так быстро растут? И почему я так быстро состарился?

– Читал в газете, что новая наркомания появилась: люди грибы едят. У нас тоже есть грибы, я их в горах собирал. Всю жизнь ел, и ничего. Может, у меня что не так с головой? Может, я чего не понимаю или не замечаю?

– Интересно, а водка может замерзнуть, как вода, чтобы льдом стать? А пиво? А вино? А, например, коньяк?

– Хочу забор краской покрасить, говорят, есть такая, которая в темноте светится. Будет здорово, вместо фонаря.

– Люблю сны рассказывать и гадать, к чему это и зачем снится. А внук не любит. Я молодой тоже не любил сны. Торопился все. А теперь некуда и не к кому.

– Раньше у нас так много голого тела не было вокруг, как сейчас. И по телевизору оно в каждой рекламе, и певицы все эти полуголые, как вожди африканских племен, и в каждом журнале и газете. Повсюду оно голое.

Я, когда мальчиком был, в старших классах, однажды у колодца девочку из соседнего дома случайно за косичку взял. Держу косичку в руке, сердце колотится... Я ведь себя тогда первый раз мужчиной почувствовал. А у нее платье длинное, и ног не видно, и рукава длинные. Я потом всю неделю как безумный ходил, все представлял, какие у нее ноги, плечи, руки. Какая она, если без одежды. И запах косички той до сих пор помню.

Странно как-то, я же взрослым с женщинами встречался, с красавицами разными, и спал с ними, а такого волнения не было. Никогда больше.

Моему внуку не понять. У него в любом телевизоре голая грудь. Ему такого волнения не пережить.

– Сидел вчера на лавочке, курил. На закат смотрел. Думалось: «Неужели закат будет, и это все будет, а меня не станет?» Не верится, кажется, что после моей смерти весь мир умрет. Но это только так кажется.

Не могу понять, как это меня может не быть, представить не могу даже. Страшно стало, как на войне.

– Однажды на войне я спросил одного своего друга, что бы он делал в последние минуты своей жизни, если бы знал, что только они есть у него, а потом всё – расстреляют. Он засмеялся и сказал: «Я разделся бы и дрожил. Помирать, так с удовольствием!» Смеялся, а в глазах – страх. Мы ведь тогда совсем молодые были.

Умер он в бою. Ранило его сильно, я к нему, на руки взять успел, а он только и сказал: «Да уж, не успел подрочить. Тяжко мне, тяжело теперь, в груди больно...»

Улыбнулся устало – и умер.

Вспоминаю его, и спокойно душе, смерти не боюсь. Видно, заслужил я такой покой перед смертью. И все-таки не верится, что меня может не быть. Как-то в голове не укладывается, столько лет был, и вдруг не будет меня.

* * *

Старик умер. Давно уже. А записи остались – чудесные, добрые. Голос хриплый – курил много. И шум вокруг – то птицы суетятся, то дождь вдруг. (Ахмет деда похоронил, дом с садом продал и уехал в город. Теперь женат, дети... Дедушка все-таки прав был – в город потянуло внука.)

И расшифровки остались. Я их часто читаю, когда совсем грустно или хочется по душам поговорить с кем-то, а не с кем. А бывает, что записи эти – лучший собеседник. Да, случается и такое.

Трогательно и смешно даже, и наивно, и нежно.

Мысли перед вечной темнотой.

А Смерть охотилась на Маленькую

У меня подруга есть, Гарсиа Лорка. Это такой псевдоним. Она на самом деле медсестрой работает, а в свободное от основной работы время боди-артом занимается, это она на моем теле красками и хной любит всякую всячину рисовать. Так вот, мы с Лоркой вчера ночью сидели, поминали ее бабушку.

Лоркина бабушка во время войны была медсестрой и носила на своей спине раненых с поля боя, и лечила их, и повязки накладывала, и раны промывала, и своим телом прикрывала от пуль и взрывов.

Она была тоненькая и хрупкая девочка, лет восемнадцати, родом из какого-то Белоцерковска. Не знаю, где это. Плечи у нее были узенькие, пальцы тонкие, и только глаза большие...

И фамилия у нее была под стать – Маленькая. Бывают такие смешные фамилии на свете, когда я только познакомилась с моей подругой Лоркой – Юлей Маленькой, – мне хотелось называть ее по фамилии и гладить по голове. Маленькая!

Лорка:

– Ты знаешь, она однажды перед солдатами выступала, говорит им: «Братишки мои, если вы потеряли сознание, а потом очнулись и видите, что я вас тащу куда-то, то не надо брыкаться. Я сильная, мне тяжело не бывает. А то вот попался недавно интеллигент, я его на себя, а он с меня, говорит, неудобно как-то, все-таки вы дама, я сам как-нибудь дойду. А я вижу, что не дойдет, спорить было некогда, пришлось оглушить. Вот и прибавилась к пулевым ранам черепно-мозговая травма. Братишки мои, если я вас тащу на себе, на то есть причина! Не сопротивляйтесь, а то!

Она говорила что-то еще в том же духе, они смеялись, она старательно хлопала своими длинными ресницами, наивно лопотала.

– Лорка, неужели она на самом деле так коряво разговаривала? Она что, в школе плохо училась?

– Что ты! Она же отличницей и умницей была! Она просто рассмешить их хотела. Даже металл устает, есть такое выражение – усталость металла. А тут живые люди, мальчики еще, восемнадцатилетние. Повеселить их хотела, отдых дать.

А Смерть охотилась на Маленькую, следила за нею, зорко и неотступно, не сводила с нее хищных глаз и ледяными узловатыми пальцами своими касалась Смерть сердца Маленькой, сжимала его со всей силы, до боли, когда Маленькой приходилось своими теплыми тонкими пальцами закрывать братикам глаза. Навсегда.

А потом курила Маленькая, дым отпугивал Смерть и давал немного отдыха и для медсестрички.

Усталость металла.

Курила Маленькая и понимала, что она всегда будет помнить те мгновения, когда тепло уходит из тела и кончиками пальцев ты чувствуешь это. И это навечно, эти имена и глаза, эти секунды...

Она курила и шутила по-черному, теми самыми шутками, где смерть и сальности, солености и грубости, нежнейшая брань и матерок, наивные ругательства и виртуозное умение бороться с тоской, страхом и напряжением. Шутки по-черному, такие, что маме не расскажешь и не записать даже. Настоящие шутки, от настоящей жизни, где все на грани и каждый миг последний.

Усталость металла... и еще покурить, и еще, пусть немного дымит, еще! Шуточку, бросьте шуточку, братики! Хочется воздух перевести в легких...

А тепла под кончиками пальцев все меньше и меньше, души отлетают стаями на небо, и не удержать их, души эти, все равно что море арестовать, воздух в клетку посадить, луч света в банку, темноту на куски порезать.

Кто это может? Вы сможете? И остается только отпускать их и молча глотать горький дым, глядя, как они уходят, сжимать пальцы, чтобы помнили тепло человеческой жизни, не упустили эту память.

— Знаешь, однажды она рассказала мне, что попался ей раненый, бывший студент-орнитолог, он ей все про птиц рассказывал, про страусов каких-то, она и понятия не имела, что это за птица, только на картинках видела. А он все рассказывал и рассказывал, она его несла и требовала, чтобы он продолжал говорить, чтобы сознания не терял. А потом он утих, и она спиной почувствовала, что все...

...Значит, на то была причина...

— Страус — самая крупная птица в мире... нет, мне не больно, мне совсем не больно. Спасибо большое....

И звезды над ними и пули. Ночь темна, ночь нежна и жестока.

И вечный холод на спине. И отныне и навсегда, пока жива Маленькая, Смерть время от времени будет проводить по ее спине своими узловатыми длиннющими пальцами, холодно и льдисто, напоминая ту ночь, когда она потеряла своего первого раненого и впервые за свою восемнадцатилетнюю жизнь узнала Смерть в лицо, услышала ее морозное дыхание.

А Маленькая, после того как утих рядом с ней молодой и красивый знаток и хранитель птиц, потом в небо ночное смотрела и вспоминала, что до войны мечтала стать астрономом и звезды изучать, и глядела в небо, и угадывала по старой памяти разные созвездия, и курила, а спина помнила, как вдруг холодом повело по ней, в тот миг когда...

Маленькая сидела у костра и все грела и грела свою спину, а звезды смотрели на нее...

Страуса она увидит, через многие годы, в зоопарке с внучкой. Внучка будет тянуть бабушку к морским котикам, мороженое в руке будет таять и капать на асфальт, а бабушка как замороженная будет стоять и смотреть, смотреть, и вдруг потеряет сознание. Спина вспомнила, смерть провела по ней своей прохладной ладонью, напомнила!

– Врача! Врача! Бабушке от жары стало плохо! Сердце, наверное. Вот до чего жара летняя людей доводит! Духота какая, расстегните ей воротник. Вам от жары стало плохо?

– От жары! Да! У меня спина, опять...

– В вашем возрасте это очень опасно! Хотите пить? Холодную воду?

– Нет, ничего холодного я не хочу...

– Страус – необычайная птица, водится в Австралии. Нет, мне не больно, я и сам могу идти. В среднем страусы живут до... нет, я уже не чувствую ног, и рук я уже не чувствую... Страусы легко переносят жару и жажду. Это самые выносливые птицы в мире, самые, они почти не устают. Почти.

Усталость металла.

Значит, на то была причина...

Она умирала очень трудно, очень долго, пару дней. Она смотрела куда-то своим внутренним взором, туда, далеко, куда нам никогда и ни

за что, и перечисляла в бреду священные списки из священной книги...

– Щекин Вася, синие.

– Любавин Юра, карие.

– Блудяев Дима, зеленые глаза, рыжие ресницы...

Она шептала имена, повторяла их, кого-то звала, просила прощения у кого-то, кому-то кричала, что там мины, кому-то обещала вернуться и убеждала не бояться. И все время шутила.

Уши краснели, когда мы были рядом. Честное слово, никогда я не слышала ничего смешнее и настоящего, ничего красивее и живее. И ничего более сального я не слышала. Даже мне, девочке с рабочих окраин, эти солёности были не по зубам.

Мы смеялись и плакали над ее шутками. Черными шутками о смерти и войне, о том, что бывает между мужчиной и женщиной в темноте, о страхе перед гибелью и о жажде жизни, черные шутки, от которых хочется жить.

Но это самое прекрасное, что слышали мои уши. Это музыка Моцарта, это музыка Баха. Это молитва о радости жизни в последний миг ее. Благодарность за радость эту, в крайний миг.

Нам ведь и не узнать, может, ушла она туда, к ним, к братикам своим, там она среди них. И шутки ее, теперь не черные, а светлые, она в кругу родных людей, и не страшно ей, и не горестно, и не грустно, и там спина ее отдохнет, и пальцам не надо будет помнить холод смерти, потому что там смерти нет.

Над чем они там смеются, она и ее братики? Над ангелами или над бесами? Над нами или над облаками? Друг над другом? Не знаю, но знаю точно... там нет усталости металла.

Вот включаю, бывает, телик, новости ищу, и часто натыкаюсь на разные шуточные программы. Пусто от них, грустно от них, тускло от них. Липкие они, как бумага для мух, неизвестно чем намазанная, чтобы мухи прилипли и погибли.

От пустого смеха бывает горько душе.

Пусть ваш смех не будет горьким.

Черкни мне пару строчек!

Вот они присели на крылечке. Тишина. Седая смешная старушка и ее внучка – девушка с косичками, ей, наверное, лет пятнадцать-семнадцать. И чемоданчик фанерный.

– Как приедешь...

– Ага, так сразу и сообщу. Черкну письмо!

Стрелка на сереньком чулочке аккуратненько зашита. А над головами – тополиный пух, его так много, даже неба не видно, как много.

Комсомольская путевка в кармане. Рыжая челка. Очки. Тонкие поджатые губы и ранние морщинки у глаз.

– Там, наверное, жара сейчас и песок вокруг.

– А что ты хочешь, буся? Это же пустыня!

– Так что вы там строить будете?

– Город, буся, Пионерск!

Косынки ситцевые и белые воротнички на платьях.

– Ну, вроде как и посидели. Мне пора, буся!

– Иди, с Богом!

Буся пыталась перекрестить внучку.

– Это все предрассудки, буся!

Звон трамвая вдалеке. Мальчишки играют в американку. Девочки возятся с куклами.

Рыжая девочка с чемоданчиком в руке вдруг обернулась у крыльца.

– А ты перекрести меня, буся! Перекрести!

А потом будет долгое-долгое лето. И бусе будут сниться пески и внучка. А вдалеке точно по расписанию будет звенеть трамвай.

Тарелки и страны

Сегодня был мой день рождения. И уже гости разошлись. Вот стою, посуду мою. Тарелки, чашки, ложки.

Когда вытирала одну тарелку, нашла на обратной стороне клеймо. Чехословакия. Вторую – Югославия. Третью – ГДР, четвертая из СССР оказалась.

Вот стран таких больше нет, а тарелки есть.

Тарелки прочнее оказались любого самого железного режима.

Странное дело, да?

Она смотрит. Она просто смотрит...

Соседка рассказала:

– Мы в Праге жили сколько-то времени, как раз тогда, когда, ну, помнишь, танки вводили, советские. Я до этого с мужем там жила и каждый день в аптеку бегала. У меня муж – диабетик, инсулинозависимый, а я тогда беременная была, вот и бегала: то витамины нужны, то инсулин. И очень подружилась с тамошней аптекаршей. И вот в тот день, когда танки в городе – а ведь это наши танки, НАШИ, понимаешь? – я снова пришла в аптеку.

А она на меня смотрит так без улыбки, без вражды, без страха. Просто смотрит. Даже не могу объяснить как.

И мне до сих пор стыдно, как вспомню...

А почему стыдно?

Потому что танки НАШИ, а она НИЧЕГО мне не говорит, не кричит, не ругается, просто смотрит, а глаза у нее... ну, как бы тебе объяснить... нет, не могу...

Про утюг

Это случилось, когда я еще жила в Алма-Ате и была шустрой студенткой-первокурсницей, лимитчицей, очумевшей от города и его культурных достопримечательностей.

Так вот, просыпаюсь я как-то рано утром, вроде выходной, открываю газету, а там объявление: «В городском парке таком-то в честь Дня здоровья организуется забег». Все победители забега получают в подарок утюг, который думает. «Тефаль» называется.

– Ура! Надо всем сообщить! А то вдруг кому-то нужен утюг. У меня, кстати, есть, советский, совсем без мыслей, а тут утюг, который думает...

Села на телефон и давай звонить всем, кто есть в моей телефонной книжке. Другам, бывшим мальчикам, подругам, учителям, однокурсникам и односельчанам – короче, всем.

– Собирайся, народ! Бежать будем! Мы всех порвем!

Информация о халявных утюгах просочилась в массы, и, когда мы с ребятами прибежали в парк, народу было – не продохнуть. И какой-то парень в красной шапочке и спортивных трусах уже куда-то бежал. И не один, а с барышней в подозрительных спортивных штанишках.

– За ними! Видимо, забег уже начался, но мы догоним! – шепнула я, и мы рванули за ними. Всей толпой. Пара ужаснулась и прибавила ходу.

– Даешь утюги! Ни шагу назад! Мы уйдем отсюда победителями! – вдохновляла я своих друзей.

Толпа бегущих между тем нарастала – стремительно, как вода во время наводнения.

Народ жаждал думающих агрегатов от «Тефаля». В парке стало шумно и тесно. Откуда-то возникло начальство парка, оно в шоке наблюдало за нашими бегущими рядами и ничего не могло понять.

Затем возникли два наряда милиции, которым плачущие парень с девушкой рассказали, как вон та девочка с косичками (то есть я) и ее друзья не дают им отдыхать, всячески преследуют с неясными целями.

Наряды милиции окружили меня и тех, кто бежал со мной.

– Ты что хулиганишь? – строго спросили меня. – Против чего-то протестуешь? Недовольна нашей властью? Чего хочешь-то?

– Утюг! Мы все хотим утюги!

– Какой еще утюг?

– День здоровья! Обещали всем утюги!

– Какой еще День здоровья?

– А вот... – достаю газету, показываю объявление. Они читают, смотрят на дату. – Ты что, дура? Это было два дня назад!

Начальство парка тяжело вздохнуло:

– Господи! Да у нас с праздника осталось еще несколько утюгов! Мы готовы подарить их девочке и ее друзьям, только бы ушли спокойно, не бегали, народ не смущали.

И мы все-таки ушли с подарками. Только с тех пор, если я чего-то предлагаю, народ смотрит с подозрением: «Это что, опять утюг?»

Кстати, тот «Тефаль» у меня быстро сдох. Смертью умных, думающих. Дело в том, что однажды у нас в общежитии студенческой отключили газ. Я взяла полуфабрикатные котлетки и стала жарить их на утюгах, потому что плитки в нашей комнате не было. Советские выдержали, и котлетки получились на ура, с привкусом свежеепоглаженного белья. А вот «Тефаль» не стерпел – видимо, думал-думал, да так и не смог понять, за что его так.

В общем, оплавилась его мозги, не вынес он надругательства над собой и своим мыслительным аппаратом тонкой организации!

Классик был прав: горе – от ума.

Детские игрушки непобедимы!

Дело было, когда я училась на журфаке в Алма-Ате, у нас как раз проходили курсы военной подготовки. У меня с моим приятелем Кудратиком по этому предмету вечно были двойки. Ну не рождены мы с ним для военной журналистики и вообще для чего-нибудь армейского. Я и сейчас ничего в этом не понимаю, путаю чины и звания. Я люблю детское писать, для детей, считалки там, сказочки.

И друг мой Кудратик – из того же теста. Только он не пишущий человек, а рисующий. Обожает иллюстрировать всякие там «посчитай, сколько на картинке цыплят», «найди десять отличий» и так далее.

Так вот, нас отловил наш полковник и сказал, что если мы не нарисуем вместе с Кудратиком к утру стенд, то не видать нам зачетов, никогда.

Стенд простенький: новые звания, знаки отличия, перевод с русского на казахский, текст прилагается, только надо его чуточку отредактировать. Я села, взяла замазку, стала красить, править бритвой.

Кудратик принялся рисовать. Он всегда тихо так рисовал, молча. Теперь-то я знаю, что если детский художник что-то молча рисует, то это очень тревожный знак, все равно как если бы вдруг малыш наедине с собой замолчал... Значит, что-то неподобающее творит...

Так и есть, натворил! Он после работы пришел, из детского своего журнальчика. Голова в «детском», а ноги и остальное – здесь. Ну вот, он взял и нарисовал стенд в духе «найди десять отличий». Справа солдат, слева солдат, а между ними они и есть, те самые различия, которые предлагается найти.

И в таком духе он все чины, все звания обработал, в жанре «веселые картинки». И всё такое яркое, подкрашенное... Яркое такое, а между военными, конечно, цыплятки, которых требуется посчитать.

Полковник орал так, что стены тряслись!

Полковник готов был нас растерзать.

И пришлось нам с Кудратиком всю ночь в универе сидеть, цыпляток закрашивать.

А наутро за нами и стендом пришли. Поставили нам зачеты и выгнали из аудитории.

Мы шли по улице очумевшие и рисовали на асфальте и заборе цыплят и детские головоломки.

Все-таки детские игрушки непобедимы!

Да!

Про Марлена, моего друга, раздражителя полковников

А теперь – история про Марлена. Он родной для меня человек. Спасибо тебе, Марлен, за всё!

Мы с ним учились вместе на журфаке, и у нас на кафедре опять проводились курсы какие-то дурацкие, на случай, если понадобятся военные журналисты. Короче, мы учились ползать по-пластунски, оказывать «первую медицинскую», различать погоны и прочее.

А еще учились печатать на машинках, слепым методом. До сих пор очень быстро печатаю, если вслепую. Почему учились именно на машинках? Потому что ее можно переносить, для работы на ней не требуется электричество и, чтобы поменять ленту, надо меньше минуты, а чтобы зарядить аккумулятор от компьютера, нужен как минимум час.

И если уничтожишь машинку, то восстановить, что ты там печатал, невозможно, а жесткий диск во многих случаях восстановим. И потом, печатная машинка быстрее и проще чинится, а компьютер – попробуй сам его почини, да еще, не дай бог, в боевых условиях.

Марлен (а многие звали его Лили Марлен, так, в шутку) очень не вписывался во все это боевое и прочее. Он вообще мечтал стать стилистом, но тогда в нашем городе еще таких специалистов не готовили, а на журфак Марлен поступил случайно – дверью ошибся.

Полковник ненавидел Лили Марлена. А как же! Тот, вместо того чтобы маршировать с нами, девчонками, рассказывал нам, как по-настоящему должна ходить женщина, о легкости походки, о невесомости шага, мягкости рук...

Снимая с нас противогазы, Лили Марлен поправлял наши прически и макияж, давал советы и старался всячески нас украсить. И повторял при этом: «Женщина – это Жизнь! А Жизнь надо чтить».

Мы обожали его. Еще бы!

Делая фото с якобы мест боевых событий, где мы, студентки, лежали в грязи, изображая трупы, он настолько нежно и тонко это проворачивал, что каждая из нас выглядела просто феей, моделью, красавицей невероятной. Цветочки подкладывал, платочки, бантики.

Потом на многих сайтах знакомств я видела эти «трупные фото», они там пользовались потрясающим успехом, мальчики как мухи липли к этим чаровницам и тут же предлагали жениться.

Лили между делом учил нас, девочек, быть девочками. Учил жестам, взглядам, поворотам головы, как присесть, как встать, как держать локти. Многие из его советов пролетели мимо моих ушей, я тогда была совсем пацанка, но то, что осталось в памяти, сделало меня счастливой.

Парни с соседних курсов презирали его поначалу, дразнили педиком, но затем... сами стали набиваться в друзья, чтобы он тоже, ну, поучил, что ли, как там и чего, ну, с этими девушками...

И он охотно помогал и им. Учил писать записки, совершать красивые поступки, произносить слова, заглядывать в глаза и улыбаться. Не скалить зубы, а улыбаться.

Благодаря ему среди нас появились влюбленные пары, на факультете засияли счастливые лица. И если в начале курсов мы все дико боялись: а вдруг наши навыки пригодятся, ведь вон, в соседнем Таджикистане... – то к концу занятий благодаря Лили мы поняли, что никакая война, никакая смерть не может убить это в нас, эту радость от того, что цветочек в петлице и любимые глаза в твоей памяти.

Полковник вопил, он рвал и метал, конечно, его бесил Марлен, напыщенный модник! Но ничего не мог поделать. Лили был отличником.

Да, мы обожали Марлена! Одно его имя заставляло нас улыбаться, расправлять плечи и чуточку выше поднимать голову. О, Марлен, Лили Марлен! Мальчик, способный даже в эти грязные окопы привнести чувство праздника и восторга. Он притягивал, он манил. Нищий студент, одетый с иголки... Как он умудрялся так выглядеть – неясно до сих пор. Аккуратный, стильный, как будто собрался на торжество, как будто жизнь – это бесконечное веселье.

Никогда – мятые джинсы, всегда – только безукоризненно отглаженные брюки. Никогда – несвежая футболка, всегда – белейшая рубашка с галстуком, или с «бабочкой», или с шарфиком. И всегда – высочайшего класса прическа! Чистейшие ногти, блестящие туфли. О, Лили Марлен, самый стильный мужчина в моей дурацкой жизни...

Мы бились за право пойти на задание с ним, сесть с ним за парту на паре, за место в столовой рядом с этим волшебником. Он обладал поистине божественным даром: всё, к чему прикасались его легкие и добрые руки, делалось прекрасным.

А однажды у нас с ним случилась история. Именно она сделала нас еще ближе и роднее друг другу. Рассказываю с его разрешения. Итак, в нашем универе среди студентов появились они – парни из Афганистана, студенты по обмену. Они проходили обучение на биофаке. Их было двое. По-русски они говорили очень плохо, а по-казахски не говорили вообще. Мой друг из профкома студентов Славочка Багрянский поручил мне и Марлену заняться мальчиками, походить с ними вместе по городу, показать его, наладить общение и помочь им с русским.

Я не соглашалась. Дело в том, что мои старшие двоюродные братья побывали там и для меня Афганистан – это та самая причина, почему один из моих братьев навсегда остался без руки. И многое другое, всего не расскажешь. Я отказалась немедленно – слишком трудно, слишком тяжело.

И Марлен тоже сначала открестился от этого. Напрасно Славочка нас уговаривал. Он все вещал о международном положении, о политической ситуации, о взаимовыручке и все такое. Мы не слушали его.

Но в один прекрасный день мы с Марленом зашли в медпункт за какой-то бумажкой и увидели следующее: один из афганцев пытался объяснить медсестре что-то, а та не понимала. Он крутил руками, махал ими. Но она все не могла понять, чего он от нее хочет.

Нас с Марленом зацепила беспомощность этого парнишки, по сути, нашего ровесника. И вот тогда мы пошли навстречу Славе и его затее с этими новичками.

Помню первое занятие. Марлен писал какие-то простые фразы на доске, что-то вроде «Привет! Пока! До свидания!».

Показывал жестами, афганцы переписывали в тетради и прилежно повторяли. Марлен писал одной рукой на доске, а другой держал мою ладонь. Я чувствовала, как дрожат его пальцы.

Затем были другие уроки. Мы даже подружились с этими парнями – бывали у них в гостях в общежитии, фотографировались вместе и

гуляли в парке. Но это позже. А в тот день, после нашей первой с ними встречи, Марлен сказал мне:

– Ты знаешь, почему у меня нет отчества? Мои родители не успели пожениться. Я уже ходил в школу, а они всё никак... Так бывает. Но жили они хорошо. А затем отец вернулся с войны тяжело раненным – не прожил и пары месяцев, умер в больнице. Знаешь, это он научил меня всему вот этому (Марлен утонченным жестом обрисовал свой внешний вид). Он тоже мечтал быть парикмахером и учился этому до войны. Знаешь, что папа успел рассказать мне об Афганистане? Если боец перестал следить за собой, если волосы его грязные и лохматые, если лицо не умыто и зубы не чищены, ногти в ужасном состоянии и так далее, значит, у бойца боевой дух сломлен и жизнь ему не мила. И выжить такому солдату невозможно. Понимаешь? Нужно всегда держать себя в форме, всегда, что бы ни случилось! Всегда!

Мы шли по улице и молчали. Проходившие мимо девушки с грустью оглядывались на Марлена – такого очень яркого и модного мальчика. И видно было: они завидуют мне, что рядом со мной ОН. И держит меня, какую-то замухрышку, пацанку, под локоток. А Марлен шел рядом и изредка касался моей щеки своей щекой, легонько, будто случайно.

Всегда быть в форме! Всегда!

Потому что боевой дух нельзя терять.

Иначе не выжить.

И что бы ни случилось...

Всегда выглядеть достойно!

Марлен теперь живет в Италии, в Риме, он парикмахер в одном крупном салоне. Он добился того, о чем мечтал. Он умница, и я его очень люблю.

Я хочу рассказать о чуде

Это случилось совсем недавно. Я тяжело заболела, да так сильно, что даже встать с постели и пойти за хлебом стоило мне многих усилий. Кашель рвал мне горло, слезы текли из моих глаз, не хватало только дождя и грома, плясок и пения, да рыдающих домохозяек в первом ряду, утирающих слезы в киношной темноте, чтобы это стало индийской драмой.

«О, где ты, мой Брюс Ли, Стивен Сигал или, на худой конец, Брюс Уиллис, чтобы прийти и спасти меня от этого всего?» – молилась я в те минуты. В конце концов, я согласна даже на Бэтмена. Вы только вообразите себе: он придет, он будет теплый, радостный, спустится с неба, утрит своими мужественными руками мои сопли, купит мне хлеба и останется со мной, пока ветер не переменится...

А завтра в бой, завтра экзамен на актерское. В голове ни строчки, репетировать не могу. И никакого будущего, кроме как на сцене, я для себя не вижу. Чувствуете пафос грядущей программы?

Чуда не было. Был кашель и сопли, жарило организм, в горле прописался морской неугомонный ежик, а чуда не было. И вот оно явилось...

Я вылезла в аптеку и встретила ребят со старшего курса. Я-то кто? Так, абитура, а они... эти благословенные питерские «старушки»! С тоненькими очечками и особым блеском в глазах. Наверняка вам встречались такие.

Они учтиво поздоровались со мной. Поинтересовались, каков мой план поступления в их ряды. Я долго чихала, кашляла, сморкалась, но сформулировать ничего не смогла.

Тогда brave молодцы поинтересовались у вчерашней школьницы, а известны ли ей какие-либо студенческие приметы.

Я мотнула головой: нет, не знаю, мне еще не удалось побывать «старушкой». Хотя для моих племяшек я, конечно, уже давно старушка. А как же! Помню газировку, перестройку, советские рубли, была пионером и даже вожатой, что, говорят, у меня на лбу написано большими красными буквами. До сих пор не могу спокойно пройти

мимо дерущихся мальчишек. Обязательно нужно разнять и провести разъяснительную работу. Даже если слышу: тетя, иди на...

Не уйду до полного перемирия. А потом эти мальчишки будут подходить ко мне с просьбами: нам тут задали, не поможешь?

А когда у нас в подвале заперли бомжика, я стала звонить всем, чтобы его вытащить оттуда. А мне говорили: ну, если бы человек пропал, то понятно, а то бомж. А в службе спасения твердили: «Ну зачем вы нас дергаете? Нет ведь никакой угрозы жизни».

Ой, что-то отвлеклась я от «старушек», видимо, тоже старею. А они что-то такое говорили, что есть таинственное, выборочное чудо и открывается оно не каждому. Я думала, что они смеются, как те мальчишки, которых я мирила и которым я теперь пишу сочинения. А они удивляются, почему я совершенно не секу арифметику, ведь для них я старушка.

А-а, была не была – смейтесь! Они мне сказали, что во время третьей белой ночи нужно быть в три часа ночи под третьим копытом Медного всадника, и тогда сбудутся три желания, о которых нужно будет сказать трем своим самым близким друзьям.

– Ну, конечно, если не придут три мента в три часа ночи, не вытащат тебя из-под третьего копыта и не впаяют тебе штраф в трехкратном размере за оскорбление памятника культуры, – ржал надо мной один друг.

Но я решительно настроилась и пошла все-таки к памятнику. И воплотила в жизнь совет. И сидела под копытами, гадая, какое из них третье. И все время повторяла свои три желания.

– Я хочу быть актрисой, играть в детском театре и еще поступить на актерское.

И почему-то в три часа ночи действительно появились менты. На машине. Они долго не могли понять, что я там делаю. И даже спорили на пиво: вандал я или нет?

На актерское я все-таки поступила. Причем так, что меня даже запомнили. На всю жизнь. Нет, я не читала басен, я просто рассказала о том, как я провела полночи под Петром Великим.

А еще мне сказали, что если не спать все белые ночи, то можно свихнуться.

– Ну, это тебе не грозит. Ты у нас и так человек творческий... – сказали мне и долго-долго ругались: когда ты, дура этакая,

повзрослеешь, тебе пора полоскать горло содой, а не слушать всяких «старушек».

Потом меня заставили вести лежаче-спящий образ жизни, парить ноги, а не мозги. И забыть о всяких мистических штуках, хотя бы пока не поправлюсь.

Ворон и ворона

Как-то однажды мы с приятелем сидим в парке, читаем вслух пьесу какую-то, а рядом какой-то старик сидит, курит.

А там, в пьесе, про то, что во время войны все были тощие, и вороны тоже.

Старик засмеялся:

– Ну уж нет, вороны были сытые, точно! Сырого мяса круглый год полно потому что...

И дальше курит.

А мой приятель ему ответил, что это лингвистическое, потому что в русском языке словом «ворон» называют разных птиц, разных в видовом отношении, да.

После, вечером того же дня, я отправилась в поликлинику.

Сидим в коридоре, рядом с нами – мальчик, а на стене рыбы нарисованы.

Мальчик смотрит-смотрит на них и говорит грустным голосом:

– Я понял: рыбы навсегда голые.

Я ответила мальчику, что все животные голые навсегда, кроме человека.

А один мой знакомый студент психфака говорит, что это очень фрейдично!

Однажды

Однажды я стояла на остановке и ждала автобуса. Мне было восемнадцать лет, я только что окончила школу и училась на первом курсе в универе.

Автобус все не приходил и не приходил. И уже темно и холодно. Зима потому что.

А рядом со мной кругами ходил какой-то мужик с отчаянными глазами. Он то и дело смотрел на часы, затем в даль, в его руках мерз букет цветов.

Наконец мужчина перестал ходить кругами, вместо этого он решительно направился ко мне. Стал совать мне свои цветы. Я испугалась.

– Да берите же. Она все равно не придет. Она мне уже пятнадцать лет голову морочит. Она всю душу из меня вынула, с луком пожарила и съела. – Мужчина снял с головы роскошную шляпу, под ней оказалась седина. – Пойдемте со мной. Я вас приглашаю в кафе. Хотите кофе? – спросил он у меня. Я молчала. Я привыкла к тому, что я некрасивая, к тому, что парни равнодушны ко мне.

А тут такое.

Кафе, цветы. Пусть сначала это было не для меня, но теперь-то.

– Я вас приглашаю. Ну чего же вы молчите? Я вас напугал? Вы не общаетесь с незнакомыми? Ну, давайте познакомимся, я Сергей. А вас как зовут? Почему же вы молчите?

А у меня в руке тяжеленная сумка, а в ней веник и швабра, я с работы, еду в общагу.

А меня зовут в кафе.

У него черная шляпа.

И седины.

И огромные отчаянные глаза невероятной красоты.

И она все равно не придет.

А тут я, дура со шваброй.

– Обещаю, ничем вас не обижу. Просто мне очень и очень нужно, чтобы... ну как вам объяснить... Вы что, и правда меня боитесь?

– Нет.

– Обещаю, я не стану к вам приставать.

Он взял мягко мою руку, забрал у меня сумку, вручил мне цветы, и мы пошли. Мы бродили по улицам, говорили о музыке и кино, о книгах и дирижаблях, о посуде и универе. Он давал мне советы, как подтянуться в учебе и стать увереннее в себе. А я кивала и боялась слово сказать, вдруг ерунду ляпну.

Мы катались на такси.

Мы фотографировались.

Он дал мне свою визитку, сказал – звони обязательно, если вдруг что-то будет нужно.

И обещал, что, если мы где-то еще пересечемся, он мне улыбнется и помашет рукой, как будто я своя.

Я сама попросила его об этом, чтобы, если что вдруг, было бы не так обидно.

Мы заходили в кафе, в одно, другое, третье.

Я впервые в жизни попробовала шампанское.

А потом мы были в планетарии.

Он тихо поцеловал мой затылок.

А я обернулась и сказала:

– Спасибо. А можно еще раз?

Он засмеялся и поцеловал еще.

А звезды кружились над нами, и сонный голос диктора что-то такое говорил про туманности.

Он держал меня за руку.

А потом мы ушли.

Мы где-то потеряли мою сумку с веником и шваброй, я плакала, что теперь меня точно уволят. А он купил мне еще такую же сумку и все прочее, что было в ней, тоже.

И еще купил мне красивую заколку. С цветами. Он сказал, что мне нужно отрастить волосы и носить заколку.

С красными-красными цветами.

И еще шарф теплый, и шапку, и варежки.

А я встала к нему затылком и попросила, чтобы он еще раз меня поцеловал.

Он спросил:

– А почему не в губы?

А я сказала:

– Потому что ты любишь другую, и при таком раскладе тебе будет неприятно целовать меня в губы. И даже если ты меня поцелуешь, ты все равно будешь думать о ней. А мне очень хочется, чтобы ты, целуя меня, думал все-таки обо мне. Иначе больно. Я понимаю, что я заместительница. Но все-таки.

Он хохотал:

– А ты не так проста, как кажешься. Мелкая, иди сюда.

Он целовал меня в затылок.

Темнело.

Он взял такси и решил довезти меня до самой общаги.

Он записал мой адрес.

И проверил, не потеряла ли я его визитку.

Потребовал, чтобы я обязательно звонила, если вдруг что-то будет нужно.

Я спросила:

– А мы друзья?

Он засмеялся.

Он еще раз спросил, а есть ли у меня телефон.

Я сказала, что нет. Потому что я живу в общежитии. Там нет городских телефонов, а на пейджер у меня нет денег.

Он сказал, что купит мне его. Я ответила, что не принимаю дорогих подарков от незнакомых мужчин.

Он смеялся и целовал мои руки. Первый мужчина в моей жизни, который целовал мои руки.

Я сказала:

– Но ведь это не любовь. Это просто одиночество. Просто она не пришла. И пятнадцать лет мучила тебя. А я просто попала под руку. И все такое прочее. А завтра ты меня забудешь.

Он промолчал.

А потом достал свою записную книжку и проверил мой адрес.

Обещал прийти.

А я заметила, что у него в записной книжке много женских имен, и спросила:

– Ты с ними спал?

– Да, – ответил он мне.

– И всякий раз, когда ты с ними спишь, ты вспоминаешь ее?

– Да. Но меня уже давно не торкает.

– Значит, она тебя очень сильно обидела.

– Значит.

– Но ты ее не разлюбил, потому что иначе ты бы не пришел и не стал ее так долго ждать. У тебя права торчат из кармана. Но ты ездешь на такси. Это чтобы пить, да?

Он засмеялся.

– Мелкая, ты чудо! Нет, ты мне не друг, ты просто моя мелкая.

– А ты что, ко мне подкатываешь?

Он захохотал еще громче.

Нет, он ко мне больше не приходил. Я злилась и плакала. Смеялась над собой, мол, какая я дура, поверила зря!

Я потом узнала, что после того вечера он пропал без вести. Его фото на листовках «Внимание, розыск!», они расклеены по всему городу.

И Она – та самая, которая мучила его пятнадцать лет, дает интервью телевидению, обещает деньги за любую информацию.

И в глазах слезы и наигранная печаль.

И еще через пару дней...

По телевидению сообщили, что тело найдено в реке.

Значит, тот день со мной у того мужчины был его самым последним?

То есть самым-самым?

Он ел со мной мороженое в кафе, целовал меня в затылок.

И не замечал, как его жизнь кончается.

То есть мы ели мороженое...

А в это время тикали часики, вот-вот пробьют финал.

Песчинки так и летят по своду песочных часов.

А это вообще можно заметить? Ну, то, как уходит твоя жизнь?

А это ведь происходит... однажды...

То есть вот именно сейчас... когда...

Прах Марины

Шура – это моя приятельница, барменша из забегаловки. Она крупная и мощная, просто крейсер «Аврора», и голос у нее не тише, чем у Монсеррат Кабалье. Она могучая сибирская дева. Но и у таких бывают дни, когда хочется уткнуться носом в мужское плечо и чтобы кто-то спрятал свой металлический мужской звон в твое нежное женское.

И она спросила меня, не могу ли я ей чем-то помочь в этом плане, нет ли у меня на примете приличного мужчины, ну чтобы серьезный, а не мурло какое-нибудь.

Я все бросила и стала звонить знакомым. И через несколько звонков мы нашли с ней одного человека, он работает в крематории, имеет там достойную должность, он едва ли не второй человек, почти министр-администратор, очень жизнерадостный и довольный жизнью товарищ! И самое главное, любит полных женщин, которые снова входят в моду.

Мы с Шурой – в маршрутку и туда, к нему, долгожданному, в крематорий, где у нашего кандидата последняя церемония с отпеванием, и все, можно идти к нему в кабинет знакомиться, а у нас с собой как раз и пиво живое, хорошее. И петь песни Шура будет. А голос у нее громкий!

Вот прибыли мы, бежим. Будем Шуру сватать. Ну и что, что сама в невесты устремляется, а время сейчас такое, если сама не устремись, то плакал твой стакан воды в старости!

...И вот кончилась церемония, вылетает нам навстречу наш министр-администратор, волосы дыбом, как крылья взбесившейся вороны.

В зале крик и скандал. Там с женщиной прощались, с молодой и прекрасной, навсегда. Ей лет, наверное, тридцать – тридцать пять.

А скандал там, потому что двое мужчин устроили драку. За ту женщину, за Марину! И крик подняли до самых до небес, аж Богу тесно! Хор, что отпевал, – перебили, растолкали! Священника в пылу драки толкнули, ударили, у него из рук крест выпал – и на пол, грязный и пыльный.

И стоят – вопят – мол, кто у нее первый был, ты или я! Да ты мне всю жизнь угробил, нет, это ты мне! Марина никогда! Марина всегда! А у нее старший от меня, нет, от меня! А младший тоже! Да ты сам посмотри, на кого он похож! А чего ты приперся! А я тебе сейчас! Тебя никто не звал, нет, это тебя никто! И по какому праву! И дерутся, пиджаки траурные друг на друге рвут, пахнет перегаром.

И урну с ее прахом они уронили и прах по полу, его давай хватать руками. Не трогай Марину, ты на нее наступил!

И прах как пыль, не собрать... Как же это сделать, чтобы до самой до песчинки!

Умерла она, и нет ее, и прах рассыпан, и дети орут, и священник молчит, не знает, что сказать. (А что и сказать-то? Какие слова нужны?) И хор отпевальный в ужасе вжался в стену.

А у Марины никого, сыновья – старший и младший, и муж, и брат мужа. И знать мы не знаем эту Марину, мы случайно здесь, мы Шуру замуж пришли выдавать... с надеждой, можно сказать, в крематорий, с последней...

Министр-администратор куда-то пропал, он не подходил к нам больше и не появлялся.

Дрались мужики как носороги, как кони, бились копытами, в кровь, и не разнять.

Потом приехала милиция. Милиция разняла, уговорила, мол, лучше сами разберитесь, а то можно и проехать.

Мужики решили, что сами. Милиция уехала. А Марина смотрела со своего портрета на все это, и на мужей своих, на сыновей, на священника и хор и на нас с Шурой как на дур и смеялась ведьминым смехом. Красивая, злая, печальная колдунья.

Министр-администратор подошел к нам и долго просил прощения, извинялся, шаркал ножкой, мол, не могу. Миль пардон, давайте перенесем аудиенцию. Он не против, но настроение не то, голова болит, как у родной жены.

И ушли мы с Шурой, отдав пиво мужикам. А те и без того пьяные, орали в вечернее, темнеющее небо, на краю крематория и угасающего дня:

– МАРИНА! МАРИНА! МАРИНА!

А рядом с ними ревели ее сыновья.

Молчание было им ответом.

А мы шли по улице и рыдали в голос. Потому что никогда никто по нам так не заплачет. Эх, мужики-мужики!

Но мы не Марины, Марины – не мы.

Ясен перец, что раз-два, расчет окончен.

Доплыть на серебряной лодке...

У меня есть друг, он мой любимый режиссер, снимает видеоарт. Зовут Сергей.

Он сильный и крепкий. Он в коме лежал, но ее победил. И мама его всегда верила, что он вернется оттуда, из неназываемого.

– А ты помнишь про кому?

– Я помню, как прыгал из одного распахнутого самолета в другой. И это был прыжок, затяжной и долгий. Мне надо было допрыгнуть, и я допрыгнул. Я чувствовал это все четко и ясно, явнее яви.

– Они стояли на земле, эти самолеты?

– Нет, в небе летели, на огромной скорости. А под ними... Представляешь?

– Ага! Знаешь, а я очень хорошо помню, как была под наркозом, ты помнишь, я рассказывала тебе, как лежала в больнице... Помню, как плыла в серебряной лодке, и надо мной то ли русалки, то ли колдуньи, прекрасные и нежные, холодные, как статуи изо льда, сияющие девы.

Они пели песни и манили меня к себе. А я лежала в лодке, и словно магнитом меня тянуло-швыряло из нее к ним, и надо было в ней удержаться. И я цеплялась за борта лодки пальцами, они кровоточили, но вместо крови были чернила. Те самые, черные, я всегда пишу черными, привычка. Знаешь, как кровь осьминога.

А еще помню сад, прекрасный и невероятный, просто чудесный. И там стол роскошный накрыт, в цветах весь. И люди за ним сидят, те, кого знала и любила, и враги мои, и друзья. И родные, и все там. Пакет, помнишь, я говорила о них, и разные ребята из тусовки, неформалы, с которыми бродила подростком. И моя Женя Кузнецова.

И голодно мне, я прошу у них со стола хотя бы хлеба. Или воды, ну хоть что-нибудь. Друзья молчат, делают вид, что не слышат и не узнают.

И вдруг Женя говорит мне: «Боженьки мои, как же ты устала там внизу, без нас! Вот, возьми!» – и подает мне роскошный бокал с вином и яблоко.

Я радостно протягиваю руку и вдруг слышу – это Пакет, верный мой друг, говорит:

– Женя, зачем ты? Ты ведь не знаешь!..

И оборачивается ко мне, строгий:

– Рано тебе! Что ты к нам торопишься? А впрочем, ждем. – И называет срок, когда мне будет пора к ним, и место мое за пиршеством указывает – а там уже накрыто, и угощения только те, что я люблю.

А вокруг – тени, голодные люди. И не присесть им, и ни кусочка со стола не получить.

Пакет объясняет:

– Самоубийцы это. Те, что раньше времени пришли... Не бери ничего, кто бы тебя ни угощал.

Сережа слушает мой бред, смеется:

– А валькирий там не было? Ангелы не пели? А какая была средняя температура? Не жарко, случаем, тебе там было? Тепло ли тебе, девица? Тепло ли, красная? Тепло ли, синяя?

Сережа всегда смеется, он единственный, кому я могу позвонить всегда, в любой час. Он поймет, выслушает про мое очередное САМОЕ СТРАШНОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ... мои долгие тирады и слезы в трубку. Молчит, слушает.

И рассмеется вдруг, и меня своими насмешками спасет. И гаснет моя Эпическая Сила, пафос исчезает, римский хор трагический тут же, всем составом, уходит в отпуск. И вот я опять между адом и раем. В том самом месте.

Он научил меня не бояться смерти, не пугаться возраста, не оглядываться и не жалеть, что время уходит, не страшиться болезней и верить разным верам. Искать, уходить в себя, но не тонуть в себе. Он вечно на золотой середине, на лунной дорожке в центре моря. Он умеет побороть свою боль.

Буйно и весело мы обсуждаем с ним в кабаках и трактирах разудалые замыслы будущих фильмов.

Он снял потрясающий фильм – «Присутствие». Об одиночестве человека. Голый человек на белой простыне, мятой и холодной, мычит и ворочается от боли, от одиночества, от крика, который застрял ножом в горле и режет его, и от него не спастись.

Он много чего снял, но этот фильм – мой любимый. Сережу показывают на кинофестивале «Дебошир» и на разных других. Он

работал в парке аттракционов, а еще – в театре у Геннадия Волноходца. Он сам шутит и учит меня смеяться, когда страшно и злость пауками пробегает в венах.

Помните, кажется, у «Мумия Тролля»? «Кто-то юморил со злости»...

В сердце – пауки сражаются друг с другом, скоро лопнет оно от тоски, неверия и гнева. И расползутся от меня в разные стороны эти пауки, черные как чернила, те самые, которые кровь осьминога и моя кровь.

Я рассказываю ему свои будущие, пока не написанные истории, которые еще никому и никогда. Он издевается надо мной. Он жалеет меня и ругает. Он ждет.

У него есть мама, которая всегда верила, что он выйдет из комы и будет жить, вырывала его из рук медбратьев и медсестер, которые везли его в морг. И вырвала – в жизнь.

И есть у него волшебная собака Герда – испуганное сердце на тонких ножках, страх в печальных глазах, ресницы – тени погибших стрекоз...

И мой самый любимый пост в его журнале: «Между адом и раем – Нирвана! Пойми это, дурилка картонная!»

Да поймите вы, он прав!

И еще люблю его фразу: «Я чуть не распался на атомы от волнения!»

Дурилки картонные, помните, что...

И не распадайтесь!

И прыгайте вместе с нами из самолета в самолет!

И пусть на полном ходу!

И пусть под ними...

И смерти не бойтесь. Там – только сад, и столы накрыты для всех. И песни поются, и разговоры текут. Там все, там всё и рядом.

Надо только доплыть туда на серебряной лодке...

А она сидит между ними...

Ее муж был ветеринаром. Она ему изменяла с другом его детства, кинологом. Хотя какой он после этого друг...

Однажды приходит муж домой, а там жена и этот товарищ, нет, не в койке. Он сидит в кресле, рубашку снял, а она рядом, рукав пришивает.

Любовнику на работе собака рукав порвала. Любимая женщина стала чинить рубашку, а больше кому... а больше некому.

А кинолог сидит и на электрочайник ее смотрит, чего вода в нем не кипятится, как положено. Отверткой вертит что-то.

А чего, раз пришел, а дама занята, надо и самому тогда заняться чем-то. Чего зря сидеть попусту?

Вот пришел муж, вот поставили чай, муж и друг стали говорить о собаках и их здоровье.

А она сидела рядышком и шила рубашку и думала: «Это не жизнь – это бред какой-то! От мужа не уйти и от кинолога не уйти. И между ними не жизнь. И без них не жизнь. И с ними не жизнь. Бред какой-то!»

А они сидят рядом и говорят о собаках. Прививки какие-то планируют.

А потом она мужу пальто чистила щеткой. А больше кому? Больше некому, раз мужчины заняты.

Тот мальчик и девочка та...

С Сережкой и Леной мы когда-то в одной школе учились, в одном классе, в 11-м «Б». Сидели друг за другом, затылок в затылок. Дружили.

Вернее, у Сережки и Лены была первая любовь, а я была при них, просто оруженосец какой-то, Санчо Панса! Просто Лена стеснялась, ну, вдруг кто догадается, что они – пара. И поэтому мы усиленно делали вид, что дружим втроем.

Убиться просто, какой наив, какая чистота, теперь таких не делают. А потом у Сережи мама и папа развелись. Отец уехал в Питер, а он с мамой – в Таджикистан.

А Лена... что с ней было... Ее метало, ее вело, она чуть с ума не сошла, она пыталась спрыгнуть со школьной крыши, ее снимали оттуда директор и физрук. Директор орал, обещал оставить на второй год, физрук обещал пару в четверти. Вызывали родителей, был педсовет, линейка с общешкольным обсуждением Ленкиного поступка, который, разумеется, позорит и школу, и нас. О Ленке даже по радио сказали в новостях. Секунд десять, наверное, говорили. Один раз.

Собрание было, общешкольное, родительское. Ленка заболела даже от всего этого. Сердце, у детей оно тоже бывает и тоже болит.

Ленку перевели в другую школу. А потом она переехала с родителями в город Мирный и писала оттуда мне. Я осталась одна. Ходить в школу было мучительно. Меня мучило от школы, от ее идиотских порядков, от этого «смотри не вздумай, нашли моду, и ты туда же».

А потом в Таджикистане началась война. И следы Сережки совсем потерялись.

Прошло несколько лет, я переехала в Питер, тянет меня к этой сырости, к туманам этим, дождям и болотам. И вот однажды я узнала, что Лена тоже здесь, мы, конечно, встретились. Но дружбы уже не получилось.

И «а помнишь...» тоже. Больно это «а помнишь...» до сих пор. К тому же Лена уже была замужем, и мои холостяцкие радости ей были неинтересны.

У Сережи умер отец, и Сережа, чудом выживший во всей этой чертовой мясорубке, тоже переехал в Питер, в папину квартиру, нашел меня и сразу попросил телефон Лены.

Я позвонила ей, спросить, она отказала:

– Нет, не давай. А что? Теперь уже все. И я замужем, и что?

– Будете дружить, Лена!

Лена рассмеялась в трубку:

– Как дружить? Семьями? Ходить друг к другу на чай с пирогом? О погоде говорить? А у нас в квартире газ? Ты что, больная?

А теперь, будете смеяться, они живут в одном доме, старинном, красивом.

Муж Лены богат и солиден, просто как швейцарский банк, носит ее на руках, а она носит на руках брелюк и яхонты.

А Сережа стал хозяином какой-то фирмы, тоже женат, носит на руках дорогие часы. Очень дорогие. Жена из какой-то мусульманской семьи, смотрит послушно, носит в руках тапочки мужу.

Расстояние между Леной и Сережей – два лестничных пролета, и война, и ее первенец, которого она не выносила, и разлука, которая навсегда.

И что? А ничего. НИЧЕГО, при встрече даже взгляды не пересекутся. НИЧЕГО.

Это тот мальчик, ради которого она была готова с крыши...

Эта та девочка, из-за которой, как он мне кричал в трубку, он целых четыре года не мог ни с кем даже целоваться. Он хотел только с ней. Так бывает, я верю.

И даже не оглянутся при встрече.

Вот такая вот вечная молодость.

Только детей нет ни у Сережи. Ни у Лены.

Может, действительно бывают пары, которым НИКОГДА нельзя расставаться. А если и случится разлука, то после этого только НИЧЕГО.

Вместо ребенка

У меня есть знакомая девушка, очень добрый человек. Она раньше в стриптизе работала. Красивая такая, нежная, похожая на Мэрилин Монро... Назовем ее Натой.

Так вот, Ната, в отличие от Монро, – умственно отсталая, УО, как говорят. Когда с ней общаешься, такое чувство, будто перед тобой ребенок максимум лет десяти.

Никого из родных – ни отца, ни матери, в интернате росла. Как попала в стриптиз, не знаю.

И вдруг, сама не помнит где, она познакомилась с Сережей. Он очень состоятельный человек, старше ее на десять лет. Купил ей квартиру, обеспечивает всем. У нее в квартире – только игрушки, полный дом. В «Детском мире» ее уже узнают, потому что она покупает игрушки ящиками.

И одежды много, украшений. Чтобы Сереже нравиться.

Он говорит, что она как щенок, может только любить и ждать.

Любить и Ждать.

Всегда сидит у двери: вдруг он приедет?

Только Любить и Ждать. Ни на что большее не способна.

А у него жена, бесплодная, детей нет.

Ему друзья говорят:

– Ну что, завел себе Куклу?

Один из друзей сказал шутя:

– Поделись!

Сережа врезал, да.

Сережа говорит, что она ему вместо ребенка.

Все выходные проводит с ней.

– И что я теперь, жениться на ней, что ли, должен? Она же УО...

А я ему:

– Сереж, вот если, не дай бог, с тобой что случится, что с ней будет? У нее же в квартире только игрушки...

Сережа молчит.

Он нашел ей няньку – она ходит на рынок, кормит Нату, одевает, следит, чтобы не простудилась.

Ната до сих пор прячет хлеб под подушку, потому что в интернате голодно было, научилась «нычить». Привычка. Спрячет, а потом не помнит. Хлеб портится, Ната плачет.

Няня убирает испорченный хлеб, кормит Нату.

Годы идут.

А Сережа говорит, что никто, кроме Наты, его не любит и не любил никогда.

– Остальным только деньги от меня нужны. А ей... Я пришел – она сияет, ухожу – она грустит. Все мои желания исполняет. Любые.

И никакой корысти, потому что у Наты мозгов нету. Потому что у нее в организме – только сердце.

А Ната смотрит на него и не дышит. Забывает дышать.

А я молчу и не знаю, что сказать.

А недавно Ната опять приходила ко мне в гости.

Я тогда болела, а она гладила меня по голове и дула на лоб, чтобы не горячий был.

Руки у нее мягкие и теплые. И глаза добрые, синие. Волосы – серебристый шелк.

На нее мужчины на улицах оборачиваются. Машины останавливают, из окон высовываются – «дай телефон».

А Ната идет по улицам и улыбается, и никому телефон не дает, потому что у нее есть Сережа.

И больше ей никого не надо.

А меня она часто спрашивает:

– А почему, когда дождь идет, кажется, что и звезды тоже мокрые?

А еще говорит, что ей недавно приснилось, что она жирафиха и стоит рядом с жирафом и что он ее очень любит и гладит своей длинной шеей ее шею.

Очень нежно и ласково.

Сказала, что в следующей жизни обязательно будет жирафихой.

Что же еще о ней рассказать?..

Вот нашла Ната журнал, а там статья про попугая, который был мегакрут и умен.

Знал до трехсот, кажется, слов. Умел считать и все такое прочее. Когда помер, сказал хозяйке:

– Я люблю тебя, до встречи!

Ната вздыхает:

– Я подумала: вот-вот, а разве что-то еще остается? Только это – и все. Да. А в церкви одна бабушка говорила, что тот, кто скажет такое при смерти, мол, «я тебя люблю», – избежит ада. Только нужно искренне, чтобы от всей души. Кому-то, кого больше всего и очень сильно... Как я люблю Сережу. Да.

– А еще, – продолжает Ната, – мне один старик рассказывал про нирвану и прочее. Он, кажется, калмык был, старенький, буддист. Мне лет было тогда, наверное, шесть или семь. Он сказал, что, когда душа человека очистится, ну, от всего наносного, от страстей, желаний и пороков, когда это самое Эго исчезнет, тогда от души останется только сияющая искра, крохотная, в сто раз меньше кунжутного семени. И тогда эта искра будет в бесконечности светить, летать вечно, в покое и радости. И все души рано или поздно там будут, все-все, когда очистятся.

– Ведь это, наверное, и есть божья искра, как православные говорят?

– Наверное, да.

– А мы встретимся с тобой там?

– Встретимся, но мы друг друга помнить не будем, у нас ведь не будет Эго.

– Жаль...

– Не надо жалеть, просто у нас тогда будет другая история. Да. А я люблю, когда дома есть кунжут, как напоминание о...

Что делать мне с этой Натой? И что с ней дальше будет? Ума не приложу. Наверное, дальше будет просто жизнь. И просто любовь. И однажды вся эта жизнь и вся эта любовь закончатся. А что может быть еще?

У нее никогда не будет другого автоответчика

* * *

– А ты знаешь, а у вон той женщины (видишь ее? Такая седенькая) сын был единственный! Он в Чечне погиб. После него осталась запись на телефоне, на автоответчике. Он там смеется и говорит: «Милая Вера, девочка моя серьезная, я люблю тебя, и не сердись, что не подхожу к телефону, меня пока нет дома, я скоро вернусь, помни, что я всегда есть у тебя! Оставь свой номер, и я перезвоню тебе, милая моя, родненький мой оловянный солдатик!»

– И?

– Говорю же, в Чечне погиб. Вера поплакала и вышла за другого. А мама его все никак не может стереть эту запись с автоответчика, понимаешь, у нее теперь никогда не будет другого автоответчика.

* * *

– А видишь вон того парня?

– Ну, вижу!

– Он тоже в Чечне воевал. С моим старшим братом в одной школе учился.

– Какой молодой, а уже...

– Ага! Этот парень в нашем дворе живет. Он на той неделе себя бензином облил и поджечь хотел. Кричал как. Еле-еле успокоили, еле остановили. Мой отец водки взял и пошел с ним пить, напоил как следует и спать уложил. Да ты не оборачивайся. Не смотри на него в упор, он этого не любит.

– Красивый парень, очень. Правда!

– Других не делаем. Войной прибитый, но что поделать...

У моей знакомой есть сын, у него синдром Дауна, таких детей называют даунятами. Его Миша зовут. Фамилию не говорю по понятным причинам. Так вот, мама его растит одна и пашет на трех работах, Мишу чтобы прокормить, у врачей наблюдаться, чтобы на лето приличный отдых обеспечить. А Миша уже большой, ему четыре года. Он любит, когда мама спит, взять у нее телефон мобильный и играть с ним, на кнопки нажимать.

А еще он любит, когда при этом кто-то в трубку говорит, Миша слушает человеческий голос, ему нравится.

Мама его вечно перед всеми просит прощения за Мишу, что, мол, вы понимаете, он маленький, он не понимает. Это он вам названивал с моего телефона.

Маму даже уволили как-то за такое. Миша игрался и нужному человеку спать не давал.

А однажды Миша позвонил Лене Жоржевской, и она сначала не могла понять, кто это с ней так шутит, сопит в трубку, и стала ему петь песни на китайском, благо она его в университете учила.

Поет-поет и слышит, как кто-то смеется в трубку, и сама засмеялась от радости. А потом мама проснулась от Мишиного смеха и трубку из его рук взяла и стала прощения просить, а Ленка Жоржевская еще громче смеется и маме тоже песню спела.

Если вам вдруг позвонит кто-то и будет в трубку молчать или сопеть, вы не ругайтесь зря, лучше скажите что-то, вдруг это Миша вам звонит с маминого телефона, Миша очень любит человеческие голоса!

— Ты прикинь, у нас в доме одна баба живет. Муж у нее крутой был, да вот в аварию попал и овощем теперь лежит, под себя ходит. А она верная какая, однолюбка, что ли. Любит его. Оставить одного не может. И как он без нее, ему уход и уход нужен. Так вот, недавно у нее хахаль появился, а что, она молодая, младше тебя, между прочим! Вот тебе сколько лет?

– Тридцать два, скоро тридцать три.

– А ей двадцать пять! Тело молодое, своего просит! Понимаешь?

– Ну да, и что он, хахаль?!

– А я видел, мы же в коммуналке живем, все на виду, короче, он обнимал ее и кричал, мол, не могу я без тебя жить, хочу с тобой.

Она ему: и что, ты будешь моему мужу уколы ставить и капельницы? Утку из-под него выносить? Пролежни его лечить?

Он говорит: буду! Лишь бы ты рядом и лишь бы с тобой быть! Пойми, ты прошлое любишь, а не настоящее, а настоящее – просто мясо, он просто мясо, и все.

– А она?

– Она ему: а ты это ради прописки питерской стараешься, вот и весь разговор. Хочешь прописку, только ты на нее еще не заработал. Но я в твоих услугах больше не нуждаюсь! Дверь вон там!

– Так и сказала?

– Да, так и сказала!

Первый флейтист

– Маш, ты что, все-таки уходишь от меня?! Но почему? Что я такого тебе сделал?

– Ничего!

– Тогда в чем дело?

– Ты сам знаешь!

– Не знаю! Объясни!

– Дело в том, что тебя зовут Саша, и твоего отца зовут Саша, и твоего деда звали Саша, и твоего прадеда звали Саша, и сына, и правнука, и внука... И, наверное, вся твоя семья произошла не от Адама или от обезьяны, а от Саши! И в вашем доме всегда будут портреты Саш с пышными усами. И все вы – Саши – будете юристами!

– И ты бросаешь меня из-за этой чуши? Ты же беременна, ты что, собираешься одна растить нашего ребенка?!

– Нет, не нашего ребенка, а моего! И я назову его Игорем. И он будет флейтистом! Он будет первым Игорем и первым флейтистом среди ваших бесконечных Саш.

Я сказала... Он сказал...

Я сказала ему, что люблю его.

Я сказала ему, что люблю его, и увидела, как он смутился и помрачнел.

И тогда я спросила его:

– Наверное, я такая дура, что сказала тебе вот...

Он строго посмотрел на меня и...

Я заплакала:

– Я точно дура! Зря я тебе сказала.

Он сказал мне, что я дура.

Он сказал мне, что я дура, и протянул платок.

Он сказал мне, что я дура, и протянул платок, и попросил: «Не плачь!»

Он сказал мне, что я дура, протянул платок и попросил: «Не плачь! – а потом глубоко вздохнул: – Все пройдет!»

Я вздохнула оттого, что он сказал, что я – дура!

Я вздохнула и заплакала от его слов.

Он сказал мне, что завтра начнутся соревнования и что он будет участвовать.

А я молчала и не видела его лица от слез.

О, как все безнадежно...

Он посмотрел на меня и закурил.

А вокруг падал снег.

А сейчас я даже не помню его имени.

Или...

Вечно в моей жизни все не так...

Я иду по улице. Или не я, или не иду, или не по улице.

Я люблю тебя. Или не я, или не люблю, или люблю, но не тебя.

Или не люблю не тебя.

Ты хочешь, чтобы я осталась. Или не ты, или ты, но не хочешь, или не ты хочешь, чтобы я не осталась. Или ты хочешь, чтобы не я осталась. Или не ты не хочешь, чтобы не я осталась...

Я зову тебя и жду, когда ты придешь!

Или не я, или я, но не зову, или зову, но не тебя, или не жду, или жду, но...

Или я зову не тебя, но жду, когда ты придешь.

Или зову тебя, но жду, когда не ты придешь.

Ты и я...

Или не ты, но я.

Или не я, но ты.

Или не ты и не я.

Или...

Закрыться на месяц...

Ночь. Темно и мрачно за окном. Тускло. И сплю уже давно. Но вдруг, как взрыв атомный, твой звонок. С напором!

– Юр, ты что, с ума сошел?! Я уже сплю! Ты знаешь, который час? Спокойной ночи!

– Маш, только не бросай трубку! Мы закроемся в квартире на месяц, мы никого не пустим. Напишем детектив – четыреста страниц, продадим рукопись и поженимся.

– Я никогда не писала детективов.

– Я тоже. Я их вообще не люблю. У тебя есть комп?

– Есть.

– Вот и отлично. Ты будешь печатать, а я диктовать.

– Я так не хочу!

– Тогда наоборот. Тебя так устроит?

– Как мы будем писать вдвоем? Я никогда не писала вдвоем.

– Я тоже. Я вообще не люблю писать вдвоем.

Шорох в трубке, звуки борьбы, сопение. Наконец кто-то выхватывает трубку.

– Алло! Это Валера, я друг этого оболтуса. Ты ничего не подумай, не принимай все так близко к сердцу. Просто Юра – творческий человек, и к тому же пьян.

– Он хочет закрыться со мной на месяц.

– Но ты же понимаешь, что это нереально?

– Нереально? Неужели, по-твоему, нет ни одного человека, который хотел бы закрыться со мной на месяц?

– Почему же, наверняка есть.

– Кто например?

– Например я.

– И что же мне делать?

– Ничего. Просто живи. А я его уложу спать, он проспится и все забудет.

И снова звонок уже ближе к утру.

И снова Юра, тот самый ненавидящий детективы и совместное творчество.

– Алло! Мы будем жить в лесу на реке! Я нашел для нас потрясающий берег, там много рыбы. Ты даже представить себе не можешь, как много там рыбы.

– А я не люблю рыбу. У меня аллергия. Мне к семи на работу. Спокойного утра.

А потом уже в шесть утра звонок. Это уже с работы.

– Алло! Это ты? Срочно в офис! Бегом!

– А что случилось?

– Подробности на месте.

– Бегу!

И снова звонок. Это уже автоответчик. И уже полдень.

– Алло! Возьми трубку. Я взял бумаги и чернил, и уже придумал, что мы будем писать. Я думал об этом всю ночь. И все утро. Возьми трубку.

А мальчик молчит

Мы с мелкой были в поликлинике – стояли в очереди к окулисту. Рядом сидели двое: мальчик незрячий (лет семи) и его мама – бледная женщина с измученным лицом.

Мама спала. Мелкая моя завела машинку, ну, такую, с музыкой. Она хотела поиграть, а мальчик схватил машинку. Моторчик оцарапал его ладонь, проступили ссадины.

Мальчик шепотом говорит мне:

– Пожалуйста, пусть тихо. Мама уже третью ночь не спит. Все шьет. Она у меня одна.

Я не нашлась что сказать. Промолчала. Но мальчишке было все равно, он, кажется, говорил сам с собой.

– Ночью слышу – стучит, шьет. А потом тихо, вроде остановилась. Я понял, она на меня смотрит, боится, что разбудит. Притворился, что сплю крепко-крепко, чтобы не волновалась. Я умею так. Давно умею. Она снова стала шить, стучит-стучит. Она у меня одна.

Я дала своей дочке мягкого медвежонка, чтобы играла тихо.

Подошла очередь мальчика идти к врачу. Он хотел вернуть мне машинку, а я ответила:

– Оставь себе.

Он сказал:

– Нет, спасибо, мы сами. Не нужно. – И положил на банкетку.

Он разбудил маму, они пошли. Через дверь я услышала ее умоляющий голос:

– Нам бы справку. Сказали, чтобы... обещали... да, мы знаем, но вдруг чего дадут, перед выборами бывает, дают чего-то...

А ведь скоро – да... скоро выборы, в прошлый раз давали... сказали, принесите...

Это мама, говорит сквозь сон, уставшая, выпрашивает.

Мальчик вдруг, строго и громко:

– Мама! Мама! Не надо! Не проси! Хватит просить! Хватит! Мама! Давай уйдем! Не хочешь, я сам тогда!

Какая-то суeta в кабинете – и вот вскоре он вышел. Мальчик лет семи, а за ним мама.

Она ему что-то объясняла, просила вернуться в кабинет врача, уговаривала. А он не слушал, он просто шел. Тогда она взяла его за руку, и они ушли вместе.

А на сиденье осталась наша заводная машинка.

Но потом они все-таки вернулись.

Мама объясняет мальчику:

– Пусть хоть мало дадут, но все-таки дадут. Разве я не права?

Мальчик молчит.

– Ты меня совсем не жалеешь!!!

Мальчик молчит.

Они вошли в кабинет врача. Дверь захлопнулась. Было слышно, что мама опять выпрашивает какую-то бумажку. И вот врач что-то отвечает, кажется, она получила свою заветную, и уже счастлива, униженно благодарит.

А мальчик молчит.

Он молчит.

Она умеет ждать...

Встретила знакомого, он – пожарный.

Говорили о разном. У него на шее увидела какую-то цепочку. На ней что-то яркое.

– Ты православный? Носишь крестик, иконку?

– Не-а. – Вынимает цепочку, а на ней картонный мишка, фломастером раскрашенный. – Дочка подарила, на день рождения. Чтобы со мной ничего плохого не случилось, чтобы я ничего не боялся.

Представляешь, задержался на работе, так она до одиннадцати вечера спать не ложилась, ждала, когда приду, хотела сама подарить. Сидела у двери, ждала.

Она умеет ждать, тихо – без истерики. Доченька моя... Если папа не пришел, это не значит, что с папой что-то случилось, просто папа на работе. Просто папа занят.

Понимаешь?

– Так у вас такая работа... Пожар тушить – это все-таки тебе не балет смотреть...

«Ничего... Она у меня умеет ждать. Если папа не пришел, значит, папа просто занят».

Такие дела.

И еще кипяточку

Сегодня утром я убежала на халтуру, Шура позвала. Шура – моя подруга, она барменша, то есть барвуменша.

С крутым сибирским нравом. Она приехала в Питер, чтобы стать оперной певицей, учится, подрабатывает в забегаловке. У Шуры сильный низкий женский голос.

Она крупная и мощная, как Монсеррат Кабалье. Таковую танком не сдвинуть, и двумя тоже.

У нее грудь такая, что вот стол на ней не накроешь, а тумбочку можно, тоже полезная мебель. И кулаки у нее, да такие, что любому промеж глаз. Алкаши ее в забегаловке любят и слушаются, как дети классную даму, в смысле классную руководительницу.

Шура мечтает стать певицей, но ей говорят, что больно у нее вид устрашающий, ей бы малость похудеть. Вот с тех пор Шура худеет. Пока с трудом, борьба идет за каждый грамм.

Шура грубая, матернуться любит, бывает и свистнуть, если что плохо лежит. И мелкие гадости клиентам делает, когда сильно достают. И выпить любит, и трепаться до полуночи с подругами или там друзьями.

А еще она любит футбол – и поиграть, и посмотреть. Дерется с мужиками на равных.

Может челюсть свернуть, одной левой или одной правой. А еще у нее маникюр розовенький с бабочками. Кривенькими и салатовенькими.

Я с ней из-за ее идиотского маникюра все время ругаюсь, а ей нравится.

Сегодня я с ней в забегаловке работала. Она за стойкой, а я мыла посуду и клиентам носила пива, там, и прочее.

Подфартило мне! Дело в том, что напарница Шуры ушла в кредит, то есть в декрет, вечно путаю эти слова, ну не важно. Так вот, весь день светило солнце, и воздух был теплым, и уже стали появляться девочки в коротких юбках и тяжелое зимнее заменили на легкое весеннее.

Мы наливали пива и чай, кофе, раздавали сосиски.

Кафешка была вся в дыму, от сигарет, я плыла сквозь него, как каравелла по волнам, после жаркого дня. Мне казалось, что я на поле битвы, все измучены после боя, контужены, в воздухе – тоска и много дыма.

А потом к нам пришел какой-то уставший молодой человек, выпил кофе и ушел, забыв клоунский парик, он, наверное, на корпоративных праздниках работает или там на днях рождениях. Я за ним – шмыгнула на улицу. А он исчез, и только клоунский парик остался у нас, и наша кошка тут же залезла в него и уснула.

Кроме того, к нам пришел бывший бизнесмен, ну да, когда-то он действительно был крут, а теперь же обанкротился и жена у него померла, но он не сдается, он по-прежнему, гладко выбрит, при галстучке и пахнет одеколоном, дешевеньким, но главное, что держится бодрячком. Это правда очень важно. Он купил себе чаю и пюре.

Они с женой раньше приходили сюда, здесь познакомились. Это было их место... И раньше это была не кафешка с тараканами и беременной кошкой, а настоящий ресторан, от него еще остались какие-то ключья, тряпки, вазочки, как от потасканной жизнью куртизанки.

Сидел, пил, молчал. За столом, который помнил его счастливым и молодым, женатым, любимым, родным и успешным, смотрел в окно, которое видело, как его целовала единственная...

Ел несвежее пюре (а других у нас нет) и пил одноразовый чай из пакетика, в одноразовом стаканчике... Пил, ел, молчал. Вдруг вскочил и выбежал из нашей разливухи на улицу, где как безумные орали воробьи и куда-то неслись огромные, уставшие, ржавые трамваи.

Выскочил и куда-то понесся... Куда же, зачем так вдруг? Не понимаю...

А еще приходил горбатый мужчина, очень невысокий, ростом, наверное, с третьеклашку, с ним девочка. Волосы рыжие, кривые косички, одна чуть выше другой. Они были практически одного роста. Он достал из кармана мешочек, он звенел им как венецианский купец, только в мешочке было не золото, как у купца, далеко не золото.

Потом он долго-долго пересчитывал мелочь из мешочка. Долго – тщательно, он раз за разом пересчитывал, проверял, девочка торжественно снимала с его носа очки, и вытирала их, и снова

надевала на его нос. Приглаживала его волосы. А он считал и краснел, видно, что ему было неловко.

Шура сказала:

– Может, у вас трудности, не те очки? Так бывает, если очки для чтения, то...

Мужчина обрадовался, вот он выход:

– Да-да! Очки для чтения, простите.

Она взяла у него мелочь и спросила:

– А что вам?

Мужчина:

– Чаю.

Девочка тут же:

– Без сахара, и мне не надо, я не буду.

Мужчина:

– Тогда и мне не надо!

Девочка:

– Ну хорошо, будем пить один.

Шура крикнула мне, я была тогда у мойки и разговор слышала, чтобы я тщательнее помыла чашки.

– Чашки? Какие еще чашки?

И правда, какие? В этой кафешке уже давно подают чай и все прочее в одноразовых стаканах. И тарелки тоже одноразовые. Из «посуды» только пепельницы и всякие там солонки и перечницы. Ну разве что... Неужели Шура решила этим людям наши чашки дать, те, из каких мы сами чай пьем?

С нее станется... Впрочем, так и есть... Шура рассчитала мужчину и девочку и посадила их к окну. Она зашла ко мне, достала наши чашки... Никогда я ее такой не видела. Что это с нашей рубахой – Шурой? И чего она вдруг так?

А когда я несла им чашку с чаем и еще одну с чаем и сахарницу, как сказала Шура, за счет заведения, у нас повышенный сервис, они смотрели на меня виновато, будто что-то украли у меня.

И мне стало как-то не по себе, я тоже стала чувствовать себя виноватой. Поставила, отошла, слышу спиной:

– Дядя Артур, а папа теперь долго будет в тюрьме?

– Долго, Тамара, долго, пей чай. Скорее, нам сегодня еще долго идти.

В чашках растворяется сахар, его мешают нашими ложками. В чашках тонут два пакетика чая, за счет заведения, повышенный, как его...

Ой, хозяйка же нас убьет и за сахар, и за пакетик. Она же все это пересчитывает и перемеривает. Скупорежница какая!

Шура мне сказала:

— У них чай кончился. Иди и подлей еще кипяточку. И дай им вот... — Она сунула мне какие-то плюшки.

Долго, долго...

И еще кипяточку...

Еще кипяточку...

Тамара, красивая девочка с зелеными глазами, носик с горбинкой, говорит с акцентом. Сказала, что Тамара — это имя царицы. Она тоже немного царица. Навсегда, навсегда.

Позже они ушли, и день был как день, пьяные мужики пили пиво и ругались, дыму было много. Кто-то что-то разбил, кто-то подрался, кто-то поссорился и тут же помирился. Кто-то расстался с кем-то, кто-то встретился, кто-то приставал к нам. Но Шура показала ему, где зимует кузькина мать.

В общем, все как всегда, жизнь есть жизнь...

За счет заведения, повышенный сервис.

И еще кипяточку!

Варя кричала «НЕТ!»

У нас во дворе жила девочка – инвалид, колясочница. Ее мама была из состоятельной семьи, а что такое в нашем дворе состоятельная семья, и в перестройку?

Дома у них всегда было полно и конфет, и игрушек разных, и всяких там мармеладок, и альбомчиков с картинками. Богатство.

А я эту девочку ненавидела! Варя ее звали. Ее мама часто уговаривала нас, здоровых детей, чтобы мы с ней игрались. Приводила к себе в дом и угощала нас со страшной силой. А мы с ней не играли, мы жрать приходили.

У нас почти у всех отцы или алкаши подзаборные были, или по зонам, или вообще никаких отцов. И те из нас, у кого отцы были, завидовали тем, у кого отцы по тюрьмам сидят! А те, у кого сидели, завидовали тем, у кого их вообще не было.

Радости полные штаны. Я потому мат на дух не переносу, в своем Шанхае обожралась. И слез бабьих, и мужиков, которые блюют с утра, насмотрелась.

Так вот, в этом чудесном дворе, где всё было всегда чики-пуки, и красиво, и смешно, жила эта самая Варя.

Со стыдом она наблюдала, как ее мама примазывается к ровесникам, сюсюкает с ними: «Игорешечка, голубочек, приходи с Варюшей поиграть. Варюша, ты же хочешь, чтобы к нам пришел Игорюнечка?»

Игорюнечке, между прочим, уже тринадцать лет, у него уже пушок на лице, он уже с девочками по углам обжимается, а она ему говорит – Игорюнечка!

А Вареньке хочется застрелиться от всей это мутотени. Она с Игорюней в один год родилась, у нее вон уже грудь расти начала.

А мама все мусолит, а мама все сюсюкает, сахаром насыпает.

Я к Варе ходила книги смотреть и на хорошей бумаге нормальной качественной краской пописать. А еще поесть всяких там конфет, да и просто поесть. А на саму Варю глубоко было. Нам всем было поровну на нее, к ее болезни мы привыкли, она нас даже не удивляла, ничего особенного, ну подумаешь, руки-крюки.

А мама хотела создать коллектив детский, чтобы с дочкой дружили, чтобы дочке общение, чтобы она вливалась в круг здоровых детей, адаптировалась всячески. А Варя вешалась с этого общения, от этого круга подбранных «семейным счастьем зверенышей».

Мамы, мамы, дорогие мамы! Почему вы такие слепые?

Варина мама ничего этого не замечала. Она ставила чай и щебетала нам что-то очень сладкое – приторное и липкое. Она думала, что мы ее слушаем, а вот вам. Ей казалось, что Варе интересно, весело среди ребят, или она хотела так думать. А мы тырили в карманы все, что плохо лежит.

Варя смотрела на нас и молчала. А когда ее мама спрашивала:

– Варенька, зайчонок, малышка, ты ведь хочешь, чтобы к нам пришли в гости (далее по списку)?

Варенька как обледенелая отвечала:

– Да! – ровным голосом Кая, того самого, что у Снежной королевы в замке заколдованном, да-да, вот таким ровным обледенелым голосом.

А мы бежали к ней за новой халявой. И тайком от ее мамы дразнили Варю и издевались над ней. Кто сказал, что дети – добрые?! Покажите мне этого человека, что говорит такую чушь, и поднимите ему веки!

Варя молчала, день за днем. И кивала, когда просили. И униженно терпела. Маме поддакивала.

Но однажды Варя...

Мама опять поставила свой гребаный чай, насыпала на стол всякой сладкой фигни и позвала всех нас. А мы всегда были тут, мы – дети с улицы, грязные и крысистые. Знали, когда пахнет халявой, и шли.

И вот Варя подкатила к столу, когда все уже сели.

И когда мама очередной раз спросила ее, а не рада ли та видеть нас?

Варя ответила:

– Нет!

И перевернула чашку с чаем, швырнула в стену тарелку с конфетами и заорала:

– НЕТ!

И мы сами оттуда сорвались. По-быстрому.

И больше в этом доме никто не сюсюкал и мы туда – ни ногой. Кончилась кормиловка.

Прошло много лет. Варя давно померла. И мама ненадолго пережила дочку, на месяц или меньше. Отца Вариного тоже уже нет. А мы его почти и не видели, жил отдельно с новой семьей, где был здоровый ребенок – сын, родной, впрочем, алименты платил исправно. И примерно пару раз в год папа приходил к Варе, с подарком.

А вот в памяти есть – ее лицо, когда она кричала «НЕТ!».

И конфеты эти – карамельки с повидлом внутри. Десерт из тех времен.

Честно, не помню, ни одной речи Вариной не помню, ничего, кроме этого крика.

От человека остается только часть речи – только часть речи.

Кажется, Бродский...

Как-то вспомнилось, и все.

И лицо ее, и крик этот. И мама, которая вдруг что-то поняла и перестала улыбаться. И как мы летели оттуда, матерясь, без конфет...

Я оглянулась на пороге, увидела на столе альбом и краски. И мне было завидно, что ей, с ее руками, которые просто никакие, достается такая роскошь. Я тогда уже ходила в художественную школу (до тех пор, пока ее не сделали платной). И уже понимала в этих штуках, мне было завидно, что у нее такие платья, и обувь, и всякие игрушки.

Мы были настоящими крысами. Просто настоящими зверьками. Мы выбили окна в ее квартире. Она жила на первом. Осколки летели, как льдинки... Я слышала, как Варя заплакала, и мне стало хорошо.

Сидит до сих пор во мне такой звереныш, крыса сидит, червяк гнойный. А в ком не сидит? И все, что есть во мне хорошего, и плохого, оно оттуда, из Шанхая, из моего детства.

Синий билет

У нее был билет синего цвета. И еще четырнадцать копеек на мороженое и пирожки. У нее были очки и часы, на которых стрелки показывали, что через десять минут – кино.

У нее был портфель и дневник с двойкой за поведение, это все из-за той драки в школе с мальчишками.

А через десять минут – кино.

И четырнадцать копеек. И буфет, где мороженое в металлической чашке и шоколадная стружка.

И солнце.

Мама очень грустила из-за того, что сказала ей Еленстепанна по телефону про двойки и драку.

А потом пришел дядя Сережа и дал девочке четырнадцать копеек и билет в кино.

Девочка обрадовалась и сразу потянулась за подарком. Но потом, почувствовав мамин взгляд в затылок, резко обернулась и спросила глазами: «Можно?»

Мама кивнула и отвернулась к окну.

Девочка схватила подарок и, пока мама не передумала, – бегом.

Она бежала так, что едва не задохнулась. Она будто хотела обогнать стрелки на часах.

А кино вот здесь, через двор. И в руке – билет, синий-синий.

А потом появились они, мальчишки из соседней квартиры, и стали издеваться, что дядя Сережа и ее мама остались в квартире одни.

И всякие там намеки.

Ну что было поделать? Оставалось только драться... опять драться.

Завтра мы поедем на рыбалку...

– Завтра утром мы поедем на рыбалку, – сказал папа и взял лопату. Он пошел в огород и стал копать червей.

Санька сидел на диване и слушал тишину. В тишине тикали часы, лаяла чья-то собака вдалеке и кто-то молчал.

Папа вернулся и попросил:

– Саша, помоги мне.

И Саша сходил в магазин, купил муки, чтобы завтра жарить рыбу. Папа завернул удочку, решил, что нужно взять еще и ведро для рыбы и что-нибудь такое, чтобы было на чем сидеть.

Саша включил радио.

И они сели вместе на диван и стали слушать, какая завтра будет погода.

А сегодня было солнечно и тепло.

Папа и Саша молчали.

А со стены, с портрета, на них смотрела мама...

Папа и Саша старались не говорить о ней.

Потому что глаголы в прошедшем времени, словно моток колючей проволоки, застряли в горле.

И произнести их невозможно.

И не произнести тоже.

И дышать поэтому очень трудно.

Папа и Саша поедут на рыбалку.

Потому что на рыбалке не нужно говорить. На рыбалке можно молчать.

Назову тебя я Харитоном

Сижу я в больнице, надо мне к терапевту, справку там, и прочее. А передо мной беременная женщина, гладит руками живот и матерится.

Я ей:

– Вам плохо? Воды, врача? У меня шоколадка есть! Надо? С орехами!

Она мне:

– Толкается, гад! Больно до чего! Пятками по почкам!

Я ей:

– А что делать-то? Может, я ему колыбельную спою, чтобы успокоился и не пинался так? – В ужасе запеваю: – Ложкой снег мешая, ночь идет большая... Спят твои соседи, белые медведи, трутся о земную, то есть нет, не трутся, это в другой песне, а сейчас они просто спят...

Она смотрит на меня как на дуру. Я тоже смотрю на себя как на дуру и замолкаю.

Она (строго своему животу, мат опускаю):

– Слушай, гаденыш, будешь еще мамку пинать, назову тебя Харитоном! И тогда все будут сокращенно звать тебя Харей, Тоней или Ритой! А еще хуже, я нареку тебя, твареныша, Пантелеймоном! И прикидывай сам, как тебя в школе будут дразнить! Ты меня понял, нет?! И будешь ходить как лох!

Малыш в животе испуганно затихает.

Я:

– Ой, а если девочка родится?

Она:

– Все равно назову Харитоном! Знал чтоб, чертеныш!

Малыш в животе уже совсем притих, в шоке наверное. «Назову себя я Гантенбайн!» – наверное, подумал он и совсем застыл, а то ведь мало ли, мамка строга и сурова, как советская пресса. От нее всего можно было ждать, даже правды.

Я:

– Ничего-ничего, зато его можно будет ласково называть Харитошей.

Малыш вздрогнул в тоске и, кажется, заплакал.

Я:

– Или Харитончиком!

Малыш мысленно послал мне луч смерти и чуть не завопил:
«Тетка, дура, заткнись! А еще лучше уйди, просто уйди!»

И я встала и ушла.

Все-таки воспитание детей – это великая сила!

А вы говорите, Макаренко, Спок!

Ерунда!

Чуть что – и всё: «Назову тебя Харитоном!»

Надо взять это себе на вооружение. Если кто меня обидит, я кааак
размахнусь и назову чем-нибудь тяжелым! Учтите!

Про мальчиков Корешковых

Мальчики Корешковы, близнецы, пристали ко мне:

– А корова – млекопитающее?

– Да! Она кормит теленка молоком, значит, млекопитающее.

– А как?.. (О, дети городских джунглей, никогда не видевшие живую рогатую!)

– У нее вымя есть!

– А вот еще... Ну скажи! А вот ящерица, она млекопитающее или нет?

– Да!!! Отстаньте от меня!

– Ага! А где у нее вымя?

* * *

Из недавнего...

Мальчики Корешковы, близнецы, получили в подарок на день рождения фикус в горшке. Это мама Корешкова расщедрилась. Мальчики радостно украли у папы Корешкова водочку и давай фикус поливать! Для опыта.

Фикус стал после этого как-то очень кривенько расти, но выглядит очень даже счастливым. Такой счастливый кривой фикус.

А по телику шла передача про то, что женский алкоголизм неизлечим.

Мальчики Корешковы спрашивают:

– А ты не знаешь, фикус это он или она? И если это она, то что, она уже алкоголичка? И что теперь? Она умрет? И где у нее печень?

Я молчу, не знаю, что ответить. Смотрю на фикус, а он по-прежнему кривой и довольный жизнью. И, видимо, не против еще по сто. У них, у Корешковых, даже фикусы пьют! Это семейное.

Мама рыжего мальчика

Я сегодня бегала по городу туда-сюда, дела разные, работа. Лечу по улицам и вдруг слышу крик, женский, истошный:

– Вы не видели рыжего мальчика? Сашей зовут! Мальчика не видели? Я только отвернулась, а он пропал в толпе. Ему восемь лет...

Женщина кричит, в глазах – ужас, слезы... Уставшая, измученная (морщинки у уголков глаз стали еще глубже), волосы мокрые от дождя, в руках – авоськи.

А люди – мимо, мимо...

Я встала рядом с ней, к нам дамы прохожие присоединились, крутим головами. Где он может быть, рыжий? Вдруг увидим где?..

Она нам:

– Рыжий он такой! Глаза зеленые. На лбу царапина!

Мы с дамами бегаем вокруг, ищем в толпе...

Я:

– Нет его нигде, не видать! Может, его в другой стороне поискать?

Она:

– Нет, нужно стоять здесь – там, где потерялся. Он захочет вернуться, а меня нет на месте...

Дамы:

– Точно! Надо здесь стоять! Еще постоим, а потом пойдем за милицией.

И вдруг...

– Мама! Я здесь! Я думал, ты потерялась! – Мальчик бежит к ней из толпы.

Женщина:

– Что ты сказал?

Мальчик:

– Мама...

Женщина уронила авоськи и обняла мальчика. И снова заплакала – от счастья.

А мальчик вздохнул:

– Ты совсем промокла, моя мама. – И поправил спадающий капюшон. Мальчик поправлял его, а капюшон все равно спадал,

оставляя волосы, и без того промокшие, без защиты. У мальчика на кепке был козырек какой-то смешной. И с него на лоб капали дождевики.

Женщина:

— Ты меня мамой назвал! Наконец-то!

Какая-то бездомная собака подкралась к ее авоське и украла оттуда кусок мяса.

А женщина и мальчик не заметили этого.

Дамы облегченно кивнули друг другу и разошлись — всё в порядке!

Я не знаю и знать не хочу, что это за история.

Может быть, это история примирения матери и сына...

Может быть, это история усыновления: мальчик долго не решался, а теперь все-таки назвал женщину мамой.

А может, это история мачехи и пасынка... Они прожили вместе долго и наконец-то полюбили друг друга, и мальчишка впервые признался в этом.

А может, это история выздоровления? Мальчик долго-долго не мог говорить после какого-нибудь нервного потрясения, а теперь смог.

Я не знаю, что это за история.

И, если честно, я знаю только одно: что им это далось нелегко. Дорого они за это заплатили — это видно, это понятно.

Он назвал ее мамой.

Признал себя ее сыном.

И это, черт возьми, хорошо! Радостно это!

И пусть бездомная собака украла мясо — не страшно.

— Мама! — сказал мальчик. И она заплакала. И улыбнулась так, что мне тоже захотелось улыбаться...

И стало ясно, что еще стоит надеяться, стоит беречь в себе тлеющий огонек, стоит!

И еще, когда я смотрела на них, я поняла, что дыхание человека — это самое чудесное, что есть на этой планете. В нем — жизнь. И страшно, когда оно прекращается, но когда оно замирает от счастья — это и есть те самые минуты рая, которые стоит сохранить в себе.

Про «мамскую» любовь

Есть у меня длинная история. Про больницу. И про «мамскую» любовь. И вообще мысли разные, наверное банальные и глупые, о жизни и не только. Хочется сказать.

Это в больнице было. Мы с ней познакомились в коридорах, в тишине больничной. В предродовом отделении, там, где лежат беременные женщины, круглые, как румяные яблоки. Они называют друг друга «девочки». И одна среди них, не в общем гуле, а такая, отдельная, про нее говорят – «бабушка». Волосы седенькие. Из области, из села какого-то, продавщица, кажется. Любит балет, цирк и сахарную вату. Ей уже сорок с гаком, а она... В первый раз беременна. Смеются над нею девочки, шутят.

«Бабушка» на них не смотрит, бабушка молчит.

Ей говорят врачи:

– Ты зачем забеременела, кто тебе разрешил с таким сердцем, да с таким позвоночником, с таким телом кривым-корявым, больным насквозь, дитя вынашивать? Ты же помрешь! Аборт надо было делать. Почему не сделала?

Она смотрит им в глаза, как ребенок на учительку:

– Так ведь живой ребенок, и сердце бьется. А после и время прошло. Нельзя стало. Говорили, искусственные роды можно. А он ведь живой. Как же его, значит, частями вынимать?

Врачи смотрят, суровые, уставшие:

– А если даун родится или больной какой? У тебя же генетика! У тебя же Чернобыль за плечами, сколько тебе тогда было, в Чернобыле-то?

А она:

– А двадцать с чем-то и было. Это же мой ребенок, родненький, какой бы ни родился, моя кровинка, может, другие и в роддомах оставляют, бросают деток, а я – никогда. Как же вы не понимаете, я же первый и последний раз в жизни беременна! Это же просто чудо какое-то, что смогла.

Врачи кивают:

– Да, чудо.

Я сижу в саду больничном, где бродят теньями больные из разных корпусов, слушаю всё это и зябну от холода.

У «бабушки» – муж-калмык. Такой мелкий, но жилистый, крепкий, с меня, наверное, ростиком. Старше ее. Они поженились недавно: встретились два одиночества, схватились друг за друга, как утопающие хватаются за соломинку. Стоят на краю обрыва, за руки держатся, дети трогательные. А им говорят: «Нельзя!», им говорят: «Она помрет, и ребенок не выживет!» Им говорят: «Зачем вам на старости лет? Нашли чем маяться! Завели бы собаку».

А они гладят ее живот, и ласковое ребенку шепчут. Она по-русски, он по-своему, по-калмыцки. «Мы тебя любим, мы тебя ждем», сдувают пылинки, молчат и слушают, что там, в животе, бьется ли сердце. Муж сделал трубку деревянную, как у акушеров, чтобы слушать, – самоделку. Слушают, по очереди друг другу дают. С сыном перестукиваются.

Врачи говорят:

– Для нее беременность – смертный приговор.

Боги и святые, Христос и Будда смотрят с небес и тяжело вздыхают.

У нее в руке диктофон, дешевенький, такой, помните, с кассетами? Она в него каждый день – песни, сказки, былины, случаи смешные, истории, советы, как дом содержать, как огород засеять. И про то, как жить. Просто и ясно.

– Живи, сынку, ровно, прямо, как по дороге идешь. Под сильных не прогибайся, слабых не бей, себя блюди, честно работай, говори правду, если хочешь петь – пой, хочешь молчать – молчи. Врунов не слушай – молчунов держись. С молчунами вернее путь. А если помру и останешься без мамки, не печалься, ты из нашей породы, сможешь без мамки, я ведь смогла... Без мамки, без отца.

Говорит ему о своем сиротстве, о Чернобыле, о ПТУ, о том, как вывозили их из города. Про то, как папу встретила да сначала не приняла. Как он ее добивался. И как все-таки полюбила его на старости лет, и вдруг чудо случилось.

Боги следят с неба. У нее крестик, у него благовония торчат из кармана, руки перепачканы краской – он строитель. Портрет Будды в кармане рядом с ее портретом и фото УЗИ, на которой крошечка-малыш. Все вместе.

– Милый мой мальчик! Что же ты волнуешься, что беспокоишься? Мама всегда рядом, господи, да теперь такие технологии, что и не обязательно живой быть, чтобы любить тебя. Вот записи голосовые, на камеру отец меня записал, сфотографировал. Я тебе книжек самодельных наделала, писем написала много. Каждый день пишу, чтобы, если что вдруг случится, ты без маминого голоса не остался. Мне бы сейчас мамкин голос услышать... Да откуда же?

Брожу за нею тенью, подслушиваю, втягиваю в себя каждый ее «мамский» звук, тепла в нем столько, любви нежной материнской, что на душе светлеет и жить не страшно.

Калмык ее седенький кроет себя матом:

– Что же я, дурак такой, позволил ей ребенка вынашивать! А если погибнет она, куда же я без нее?.. А теперь поздно, теперь всё.

«Бабушка» не каждый день на улицу гулять выходит. Иногда под капельницами лежит целыми днями. Говорят, что кровь ей чистят, сердце лечат, химией жизнь спасти хотят.

А «бабушка» и не боится, бодрится всё:

– Пусть малыш родится, пусть он живет. Мне за него и помереть не страшно. Я-то пожила, а у него все только начинается. В конце концов, наша жизнь – это те люди, за которых умереть не страшно, за которых жизни не жалею. А без таких людей и жить незачем.

Калмык до смешного суеверен. Зеркала спрятал, волосы жене стричь не разрешает, красить их не дает, яблоки носит только зеленые, вязанье отнял. Дрожит, как тростинка на ветру. Любое желание жены тут же исполняет – из еды чего-то привезти, книжек, цветов...

И молится, молится. Тихо, шепотом, по-калмыцки.

Девочки смеются:

– Вот бабка и дедка, слепили колобок!

А «бабка» и не бабка вовсе – красивая она, старинной красотой, я такие глаза на старых фото крестьян видела. Крестьянская крепкая красота. Не ровня городской бледности.

Не понять девочкам, по какому краю идет эта женщина, чтобы матерью стать, малыша в жизнь пустить.

На диктофон записывает для сына, которого, может, и не увидит никогда:

– Ты у меня под сердцем шевельнулся сейчас, знак как будто подал, мол, живой, мол, дышу, сердце бьется мое, мама! Как Гагарин,

из космоса на планету просигналил: «Земля, Земля, я живой!» Из какого такого мира, с какого света – не знаю, родное мое дитя. Господи, как же я люблю тебя, малыш!

И кружит-кружит по дворику, поет колыбельные песни в черную коробочку. Если малыш без мамы останется и однажды ночью уснуть не сможет, будет плакать, то отец ему кассету поставит – глядишь, малыш и утихнет под родной голос. Он же вот под сердцем у меня, живой, знает мой голос, дети же все слышат, все понимают, рождаются – и все равно помнят, узнают мамин голос. Ученые это доказали. Технологии!..

Какая роскошь – мамин голос. А я и не знала. Вот наберусь сил, выпишут, буду маме звонить. У меня мама есть... Как хорошо, когда мама есть! Не ценила толком, а теперь вот он у меня, перед глазами, подвиг человеческий, житейский подвиг, каждый день, наверное, такое на свете происходит, а вот вижу – и сердце ухает, как будто в пещеру кто-то крикнул: «Помогите!»

«Бабушка» говорит в диктофон:

– Умереть достойно так же важно, как и прожить достойно. Не скуля, не плача, без нытья и соплей. Не беги в темноту, к свету тянись.

И коротко – про то, что такое свет и какой он бывает, и про ангелов, и про бесов, про рай и ад, про грусть и совесть. Про все, что нужно человеку в жизни знать, чтобы быть человеком.

– Сыночка, мы, когда тебя еще не ждали, с папой ездили в паломничество, по святым буддийским местам, в Бурятию там, на Байкал. Видели ламу Итигэлова, он не жив и не мертв – в нирване он много лет. Лазили в пещеру одну, святую, там нужно в темноте рукой песок зачерпнуть, если будет в нем камушек, значит, будет ребенок. Сколько камушков, столько деток. Я зачерпнула, достала – один. Мудрецы местные сказали: «Мальчик. Береги себя, чтобы чудо случилось».

Врачи ее ругают, сказали, никаких камешков на операцию, объясняют, что такое кесарево сечение, рассказывают про наркоз и антисептику. Она просит:

– Можно возьму, мне так спокойнее, это для сына!

Отказали:

– Не стерильно!

Плачет.

Встретились в коридоре: что же делать? Смотрим друг другу в глаза, думаем напряженно – и придумали, хитрые бабы, в волосах спрятать. Никто не найдет. Заплетаю тяжелые косы, как девочке на переменке. Тороплюсь: вон уже каталку везут, пора в операционную...

Увезли. Мир замер. Затих. Часы только тикают, как на бомбе таймер, – отмеряют секунды до взрыва. Муж схватил папироску, в зубах зажал, молчит. И только огонь на зажигалке трепещет. Дыхание прерывистое, через раз.

И запись последняя на диктофоне:

– Всё, увозят нас с тобой на операцию, маленький. Только и сказать успеваю, что очень тебя люблю, кровинка моя...

А стрелки бегут, бегут. И девочки больше не шепчутся, и только скрип двери рвет эту тишину.

Калмык молится Будде, кланяется, губами одними что-то лепечет. Глаза, устремленные в пустоту. Туда, в коридор, куда увезли любимую.

«Бабка и дедка слепили колобка...»

Тянется время, нервы натянуты, скрип двери – как железом по стеклу. Секунды как годы – долгие, медленные, глубокие. Ноги ватные, себя не чувствую.

Привезли. Живая! Ребенок живой, здоровый, несмотря на, вопреки всему. Врачи снова пожимают плечами:

– Как это? Это что?

Боги – Богородица, Христос, Будда, Аллах, да вся братия их святая, что есть на небесах, – облегченно вздыхают и отправляются по другим делам: их много.

И кажется, секунды снова стали бежать быстрее, и дышать стало легче, и воздух потеплел...

...А потом я буду сидеть на лавочке, во двореке, и писать имена тех, за кого мне не жаль пройти по краю и отдать свою жизнь. И список окажется длинным. И жизнь окажется у меня длинная, глубокая, широкая – моя кипучая жизнь, которая состоит, как учила «бабушка-мама», из людей, за которых легко пойдешь на смерть.

А у вас длинные списки? Вы пробовали такое написать? Я вот написала.

Летят самолеты и, пользуясь случаем, привет Мальчишу!

Ночь. Все нормальные люди спят. Только мы, дуры – Ольга, Вика и я, – не спим. Вот Юра Ольге позвонил, сказал, что с женой развелся, Ольга ему: так давай поженимся! Он молчит. Так и поругались!

Юра звонит, просит:

– Девочки, я тут вне себя, кто-нибудь помяукайте мне в трубку, как моя мама в детстве, она всегда мяукала, когда я нервничал или что-то случалось. Вот когда я женился, я до загса еле дошел, так нервничал, а моя мама всю дорогу мне мяукала в мобильник, чтобы я в обморок не упал, от ужаса.

Вика сказала, что не будет мяукать, потому что женская солидарность. Ольга сказала, что она в обиде на Юру, и вообще.

Тогда Юра попросил меня:

– Ну ты же мне друг. Ну вот я успокоюсь, и скажу важную вещь Ольге, и мы опять с ней помиримся. А по-другому не могу, ты слышишь, как я заикаюсь и голос у меня дрожит. Ну что ты, я сейчас заплачу, ты ведь не любишь, когда мужчины плачут.

Вот ведь, гадский гад, знает, что у меня такая фишка. Есть мужчины, которые чувствуют себя виноватыми, если женщина плачет, а есть такие дуры, как я... Все что угодно могу сделать, коня на скаку, русалку в ветвях, лишь бы слез этих не видеть. А еще дурацкая есть у меня болезнь, я совсем не умею сказать «нет». Ну просто как школьница, ученица младших классов.

И знает ведь Юра все мои трещинки...

Взяла трубку и мяукала, а то Юре не сказать, он, когда нервничает, заикается, это уже его тема... Мама, мы все тяжело больны, мама, мы все сошли с ума. Ночь на дворе, люди спят, завтра по делам. Только мы тут.

– Мяу, Юрочка, мяу, тебе легче? – Не знаю, я, наверное, час ему мяукала...

– А теперь дай трубку Ольге, я буду говорить.

О, Матка Боска, щас Чапай говорить будет, даю, насильно пихаю, если мужчина позвонил в час ночи и уже, намяуканный, готов

налаживать мосты, не выслушать такого мужчину просто грех, смертельный.

Ольга берет, мы все прижимаемся к трубке...

— Ольга, я debil! Ольга! Ты лучше всех. Ольга, бросай свою гадскую коммуналку и иди ко мне.

Ольга молчит. Ура, думается мне, я не зря мяукала...

— Ольга, позови кого-нибудь, я опять волнуюсь.

И всю ночь как телефонистка:

— Девушка! Девушка! Дайте мне Смольный! Смольный! Смольный, дайте мне девушку!

— Мяу, котик, мяу, сладкий.

Помирились они, потом он приехал, они целовались, Ольга плакала, кольцо обещал подарить. Мне кольца не дарил, не целовал и только по голове погладил, мол, хорошо мяукаешь. Пытался за ушком почесать!

А я что, если надо, обращайтесь... всегда!

Типус и его сын

Однажды я собралась замуж за одного типуса, он был старше меня, я была хороша. Ну вот, я оповестила друзей и родителей, стала намечать, когда же лучше всего нам отпраздновать, как вдруг ночью мне звонит мальчишеский голос, дрожащий и печальный.

И выясняется, что это сын моего, так сказать. И он сначала сердился изо всех сил, что-то такое даже кричал обидное в трубку, что у взрослых подслушал, то и кричал. А потом выдохся и стал говорить шепотом. Потому что горло от криков заболело. Да вот еще оказалось, что мама его на работе, папа неизвестно где. А мальчику страшно одному в темноте, ночь на дворе.

И тогда я начала рассказывать ему истории разные и сказки. Когда поняла, что он не слушает, а спит, я положила трубку.

А следующей ночью он опять позвонил. И мы снова проболтали до утра. Я его учила по телефону природоведению, математике. Скорее, не учила, а усыпляла математикой. Природоведение служило поддержкой, когда он начинал плакать или горевать. Животные – братья наши меньшие. Так мы с ним подружились. И никогда не виделись. А замуж за типуса я не пошла и про звонки ему не говорила.

А потом за мной ухаживали два близнеца. Я их дико любила. Оба – медики. Один – стоматолог, другой – хирург. Дело дошло до объяснений. Первый сказал, что когда видит мои зубы, то ему хочется посадить меня в зубоврачебное кресло, а другой поделился, что у меня череп уникальной неправильной формы, видимо оттого, что я в детстве много падала.

Так как-то ни с одним из них почему-то не сложилось.

Зита и Гита...

Дело было летом. Жара несусветная и бесконечная, убийственная. Верблюд у загса, и тот дремал, утомленный нестерпимым зноем, вместе с фотографом, пьющим пиво в его тени. И оба были такие сонные, меланхоличные и спокойные.

Я стояла у загса под зонтиком от солнца, пила квас из огромной кружки и решала кроссворды. Рядом со мной стояла табличка с моим именем – Лера. Мимо проходили сонные прохожие, очумевающие от жары туристы и торопливые бракодельщицы. С последними я дружески «перекивалась» головами.

– Так, редкое насекомое из Южной Африки, три буквы... – возвращалась я к кроссворду.

Ах да, забыла сказать, это же мое рабочее место. Я здесь замуж выхожу. Кроме шуток. Каждый день, кроме понедельника, с 9.00 до 20.00. Почему в понедельник не выхожу? Да потому что загс закрыт. Да, я тут, что называется, местная знаменитость, все меня знают, вон пальцами на меня показывают. Видали, вон опять!

А началось все с того, что однажды мне предложили выйти замуж. Серьезно. За большие деньги. Это все Жорик придумал! Пройдоха! Ему-то, конечно, на руку, а мне? Поясню: Жорик пробивает российское гражданство для всяких там беженцев: таджиков, китайцев и прочее.

Мы с Жориком познакомились на свадьбе моей подруги. Он был свидетелем жениха, а я – невесты. Он все смотрел, смотрел на меня, а потом взял мой номер телефона. Мы с ним даже встречались слегка, в зоопарк два раза ходили, на моржика смотреть, сахарную вату ели, как в детстве.

Узнал, жулик, что люблю я вату такую, колючую и пушистую. Обьелась я с ним такой ваты, да так, что больше никогда... А потом он и предложил мне замуж за деньги. И еще ругался, когда я обиделась и швырнула в него этой самой ватой. Кричал: «Ты посмотри, на кого ты похожа! Я же тебе добра желаю, дура! Будешь у меня ходить в шелках!»

Я потом все-таки согласилась. И точно, все, как он обещал, только чуточку наоборот. Добра он и вправду желал, но не мне, а себе. И действительно, хожу, но не в шелках, а в джинсах. Дранных, тех самых, в которых я с ним на моржика смотрела. А в шелках ходит его жена – Стелла или Анжела, не помню. Единственная точность в его словах – это то, что я дура. В самое что ни на есть яблоко, никакого молока.

Короче, я должна была приходить вовремя со своим паспортом и ставить подпись, где нужно. Я согласилась, сами понимаете, а времена теперича трудные, специалисты по юности Бонч-Бруевича пока не нарасхват. А гражданство наше и прописка с регистрацией ценятся. И все пошло-поехало. И я как-то привыкла, и деньги как-то к рукам пришлись, и Жорик как-то даже пришелся мне. Так и жила бы. И все было бы как было, если бы не...

Женихи-то у меня, сами понимаете, то индус какой, то азиат, то кавказец. Да ладно, все мы люди, все под небом ходим. Короче, в итоге и разговориться мне не с кем. И было у меня каждый божий день: загс, марш Мендельсона, печать, пожатие рук и все, пока, поминай как звали. Кто, когда, с кем и не помню, в голове мельтешит. Одних китайцев-то сколько! Бракодельщицы, конечно, себе в карман имеют, но при случае не упустят возможности вставить иглу под ноготь: мол, а когда же у тебя настоящая свадьба будет? Или это снова любовь навсегда?

А вообще, у меня скептический взгляд на брак. Ну не верю я в него ни на грош. И всякий раз я все эти свидетельства в урну, и все тут. Главное, чтобы у клиента такая корочка была. Ему-то она для гражданства нужна.

И вот однажды, после очередной свадьбы, молодой, чье имя я ну никак не могла выговорить, пригласил меня в кафе, пришел с цветами. Потом, выпив чашечку-другую, расстались. Хотя мой очередной индус то и дело смущенно поглядывал на меня, ничего так и не сказал. И я тоже молчала. Вот чушь, все время только и хныкала про себя, что мне и поговорить не с кем.

Сидит передо мной живая душа с глазами и ждет моих слов. Но что же мне сказать?! Не про погоду ведь. Боже, что делать? А он, как назло, все молчит и молчит. И только смотрит большими глазами. Правда, чушь?

Так мы и разошлись...

Однажды много времени спустя мы снова увиделись. Я опять сидела под своим зонтиком у загса. То и дело ко мне подходили то один, то другой. И я то входила во дворец бракосочетаний, ах, чтоб ему пусто было, то выходила.

А тот индусик (я его про себя Димкой назвала) все смотрел и смотрел на меня и снова молчал. Стоял как столб и молчал. Я уж и не знала, что делать, а вдруг Димка – тронутый, с ума сошел. Кто их знает, этих Димок... А он как увидел, что у нас у загса парикмахерская есть, как раз в тот миг какая-то цыпочка оттуда крашенная и уложенная выходила, и рванул туда, типа я не просто стою, я по делу пришел.

И все, зачастил он туда. И красился, и перекрашивался, стригся, брился, делал мелирование, укладку, что ты! Он даже химию себе сделал. Вот придет и стоит, смотрит на меня и моих клиентов. А потом, если уж заметит, что и я смотрю на него, бросается в парикмахерскую. Молоденький мой Димка, студентик. Он, наверное, и женщин близко не видел никогда. Никого, кроме мамы.

А бракодельщицы давай ржать: Лерка, ну что твой индусик? А может, он и не тебя вовсе любит, а эту самую Клаву, ну, которая мужиков стрижет. Ты что, она девка видная, помоложе тебя будет.

Ах, чувырлы-вырлы, хрычовки дряхлые. Сами-то небось никому не нужны.

Но все равно все слова их – глупость. Потому что... вот он снова здесь и опять передо мной, и я стараюсь не смотреть на него, а сама-то чувствую, что краснею и очень-очень хочется сахарной ваты, колючей и пушистой. И чтобы таяла у меня вот тут, от жары, и розовенькая была... Глупо, правда?

А он все смотрит и смотрит, затылком стою к нему и чувствую. А сама я ему кто? Жена. Причем официальная. А он мне кто? Муж! Причем тоже по бумажке. А по правде мы кто друг другу? А никто! И как звать его, я не помню. Димка он, одним словом. И вот стоим мы друг перед другом и молчим. Еще немножко, и он снова побежит к Клавке под ножницы.

Так мы с ним и были-жили. И все было бы, как было, если бы не...

Однажды я снова с клиентом шла под венец, и снова бракодельщицы подшучивали надо мной: «Согласны ли вы, Лерочка, и

этого тоже туда же?»

– Да! – хмуро ответила я.

– Ах, какая неожиданность! Ну, тогда счастливо получить тебе капусту. И долгих вам!

А клиент тоже оказался из Южной Африки, и по-людски он ни бум-бум. Зато сияет, ну просто олимпийский Мишка, дитя всех фестивалей мира. Бракодельщицы кивают и торжественным тоном объявляют мне: «А не хотите ли вы, уважаемая, купить у нас картошки мешок или, например, четыре ведра яблок, тетя с дачи привезла?»

– Сколько? – «дружественно» спрашиваю я.

– Всего восемьсот ре. За все.

– Вот еще пару раз замуж схожу, тогда поговорим.

– О'кей! – отвечают бракодельщицы и тем же торжественным тоном обращаются к моему африканскому другу: – Тогда объявляем вас и ждем после обеда.

Значит, выходим мы. Я хмурая и злая, ну просто живое воплощение климакса. И мой «сияющий медальон» со мною. На пороге я ему карточку, и адью. А он от радости обнял меня и давай в обе щеки целовать. Тут его жена, вся такая чудесная, в шелковом платье ярком. Стоит, молчит. Он ей карточку, что-то лепечет, она кивает, улыбается. Он одной рукой меня обнимает, другой ее. Она такая счастливая, карточку к губам прижимает.

– Потом он на тебе женится, и ты гражданство получишь, – говорю.

А она кивает, от счастья смехом заливается. И я не удержалась и давай улыбаться. И тут климакс прошел, и юность Бонч-Бруевича куда-то испарилась. Что со мной, понять не могу, но бросилась я их обнимать. Сначала ее, а потом его. И он поцеловал меня, кажется, в щеку. Раздался дикий вопль. Оборачиваюсь – вижу Димку, стоит передо мной лысый, как в зрелые годы Котовский. Смотрит на меня совершенно дикими глазами, делает резкий шаг и бросается к африканцу. Завязалась драка. Жена кричит, я бегая вокруг, пытаюсь разнять, вмешаться, и хоть бы хны. Кудахчу, в общем. Ну, просто Зита и Гита.

А потом, ну что потом? Менты, машинка, лампочка мигает, и мы вперед по неоновой трассе в «бобике». Да, это была самая

экстремальная из всех моих свадеб. Да уж, кто глупо родился на этот свет, тот глупо на нем и проживет.

И самое главное, когда мы сидели в «бобике», Димка смотрел на меня, и я смотрела на него. И никто из нас не отворачивался, и не краснел, и тем более не бежал в парикмахерскую.

Чашечку кофе и небольшой автограф...

Признаюсь, я влюбилась. Снова и безответно. Ну, а какого еще ответа вы ждали, в моем безнадежном случае? Итак, с первой цифры.

В телеведущего. Каждый вечер я садилась перед телевизором, прямо на пол. А потом медитировала на него с грустными песнопениями, или, как утверждает моя мама, с завываниями.

В минуты особого экстаза раскачивалась. Я, наверное, глупо выглядела: сидит такая бледная, в волнении, раскачивается, поет, и перед кем, то есть – чем? Перед теликом! Глупо! Особенно если учесть, что по телику крутят программу новостей, и ничего более.

А я вам скажу, я все равно смотрела, даже если мой любимый вел программу «Сельский час». Любила потому что, и все.

Когда моей маме это надоело, она спросила меня: а не пойти ли тебе на этот телеканал и не устроиться ли тебе туда хоть кем-нибудь? Ведь все равно же ты ничего не делаешь, только дуриком сидишь и воешь в пользу бедных...

И тут меня как будто яблоком долбануло! Я вскочила, моему милому смотрю в глаза, а не как обычно: я на полу, а он сверху вниз...

Короче, пошла я. О, братцы мои, что это была за песня! Вой стаи волков по сравнению с этим просто хор мальчиков-с-пальчик. Нежненький такой.

Ну, обо всем по порядку. Перво-наперво меня все-таки взяли работать на телик. Кем? Рекламщиком. Я побегала в этой роли месяцок-другой, расписывая возможным клиентам всю прелесть размещения их рекламы на нашем канале.

– Кто же смотрит ваш канал? Полторы целых, ноль десятых старушки? – усмехались они.

– Нет! – твердо напирала я. – Нашим каналом любитесь все зрелое население нашего города и большая часть области. – И смотрела на них, как партизанка на фашистов. И те сдавались. И давали рекламу собачьих поясов, каких-нибудь массажеров, горного мумия и даже отмазки или отсрочки от армии.

Каких только начальников я не видела, каких фирмочек-однодневок «Рога и копыта» я не посетила! Моя крыша была на грани.

Милый читал подводки к новостям. И проходил по коридору, не оборачиваясь на меня. А я все время держалась за сердце. Пока наконец оно не начало болеть.

И вот однажды... Я снова проходила мимо его кабинета и в тысячу первый раз уронила ручку, поднимая ее, не успев выпрямиться, я на миг задержала взгляд на его двери.

Глубоко вздохнула и услышала сзади:

– А это наша Лерка.

– Это лучшая ее часть? – спросил родной до боли голос.

И я вскочила.

– Вы, кажется, уронили ручку, – спокойно сказал он и пустил холодный смайл. Ну просто реклама «Орбита», тридцать три – и все сияют, как начищенный лимузин. И холодно проезжают мимо. Пока! По моей щеке – капля из глаз и...

– В общем, пока Ира в отпуске, Лерка будет с вами. Лер, мы потом поговорим об этом. А сейчас, – взгляд на часы, – извините, пора.

И смайл – ответ на смайл. Как удар мечом в ответ на удар. Равно и равноценно. И вдруг среди этой идиллии моя искренняя улыбка. Простите, по-другому не могу! Дура, конечно, но что поделаешь! Моя улыбка как живая рыба на берегу. Она сначала бьет хвостом и что-то пытается, а потом только медленное открывание ротика.

Они прошли мимо. И что вы хотели? Это не «Зита и Гита», чтобы страстно и вдруг. Но что мне делать, я не могу уйти, и остаться тоже... Хотя, по идее, я должна радоваться. Ведь это, кажется, называется повышением?

А я по-прежнему на полу, я снизу, а он сверху.

Затем время постепенно стало работать на меня. Я собирала видеоматериалы, кодировала, много разговаривала по телефону, моталась по городу в поисках галстука именно той расцветки и приносила кофе ему.

Он холодно принимал фарфоровую чашечку с бодрящим и тонизирующим, делал равнодушный смайл, автоматически бросал: спасибо. И уходил дальше в эфир.

В монтажной ко мне привыкли. И уже даже не ругали, если я делала что-то не то. Особенно не ругал Толик, монтажер. При виде меня у него все время потели очки. Он все время их снимал и тер об

рубашку. А потом надевал и снимал, потому что снова и снова они потели. И вся рубашка была мятая, но он все равно...

А в коридоре ждали злые журналисты с кассетами и бумажками. А он все тер и тер. Наконец прибежал какой-нибудь координатор или администратор и с дикими воплями все это решал.

Так продолжалось очень долго. Я раскачивалась, Толик тер свои очки, а мой любезный – не замечал меня.

Наконец в один прекрасный день я не отнесла кофе ему, а выпила сама. И сахара положила не две ложки, как любит он, а четыре, как люблю я. Выпив кофе, я не вымыла чашку, а выкинула в урну. А когда мне закричали в трубку: «Где кофе, кассеты, гость программы, гример, почему нет осветителя, и почему Толик отказывается монтировать?!» – я просто отключила ее и оставила на рабочем месте.

А сама просто ушла. Есть сахарную вату и смеяться.

Теперь в моем доме нет телевизора. Почему? Сама не знаю...

Сад и огород

Желая подработать, я пристроилась в газету «Сад и огород», наврав, что о как разбираюсь в сельском хозяйстве и просто души не чаю во всяких там дачниках, пчеловодах, картофелеводах и иже с ними.

Мне почему-то поверили и дали вести две рубрики. Одну под названием «Портрет», другую – «Лунный астропрогноз». В «Портрете» я должна была размещать небольшой рассказ об одном из тех, в ком я, по вранью своему, души не чаю, ах чтоб их всех.

Первые три выпуска я как-то еще держалась, не халтурила. Честно носилась по пригородам, по всяким поселкам, таскала на себе вечно пьяного фотокора, более того, разыскивала настоящих мастеров своего дела. И в дождь, и в снег, причем часто приходилось буквально уговаривать героя. Ведь ему пофиг, что мы тащились черт знает сколько и откуда. У него, видите ли, куры не доятся, ему некогда. И вообще, борода не чесана, маникюр не покладен.

Наконец мне это надоело... Набив руку на этих самых, чтоб их, поняв, что все они на одно лицо и говорят одно и то же, я создала для себя кальку. По ней строгала себе пчеловодов и знатных доярок. Более того, фотографии для своих статей я таскала откуда ни попадя.

Сначала приносила настоящих пейзажей, только знакомых, потом пошло-поехало. Стала вырезать из советских выпусков газеты «Сельская новь». Потом еще круче, из Большой советской энциклопедии.

А далее, в горку, из журнала «Меридиан», «Пионерской правды» и тому подобное. Например, у меня в заслуженных доярках значились, судя по фото, Йоко Оно, Анжела Дэвис, среди знатных свиноводов – Майкл Джексон и Ален Делон.

Ах, а какое счастье у меня было в астропрогнозах! Согласно моим предсказаниям, сеять морковку можно только во время Козерога. Потому что рога Козерога чем-то напоминают морковки. Правда, если учесть, что время Козерога – это декабрь-январь... Но ничего, мы не боимся трудностей.

Все мое веселье было дозволено с легкой руки редактора, бывшего физрука и военного. Он и фотокор не беспокоили меня по причине своей занятости. Правда, после их занятости приходилось выносить массу опустошенной стеклотары. Но это тоже деньги: бутылка – семьдесят копеек.

А что касается наших учредителей, это дело темное, единственное, что я знаю, что им хотелось отмыть деньги. А для этого нужна была такая никому не нужная газета, которую можно было бы выдать как причину банкротства. Мол, вложили столько денег, и вот вам... И тем самым спасти самих себя от уплаты налогов.

Так вот, газету они не читали, а зря. Потому что постепенно она стала пользоваться популярностью, вытесняя собой юмористические издания. Тираж оставался прежним, но интерес все возрастал и возрастал. Ее просто сметали с прилавков.

Вот уж не думала, что кому-то могут прийтись по душе мои самодельные интервью о купоросных пчелах и битвах с саранчой на землях вечной мерзлоты. Или рецепты приготовления фирменного варенья из редьки или из хрена, самое главное – все обильно посыпать сахаром. Это для того, чтобы понять, что все-таки слаще – хрен или редька...

Так я веселилась, не зная о растущем количестве читателей. До тех пор, пока ко мне в редакцию не стали приходить торговцы газетами с вопросом: где тут можно купить вашу газету оптом?

И вот наконец пришел мой страшный час. Явился, мрачнее ангела смерти, красный и торжественно надутый один из учредителей. До сих пор помню фамилию – Франко. Он напоминал Синьора Помидора. А когда он закричал и затопал ногами, то мои нервы не выдержали и я сказала ему: «О, зачем же вы так, при вашем, извиняюсь, весе сердечко зайтись может. И тогда все, придет брат Кондратий. Я же о вас забочусь, вы не подумайте».

Франко посмотрел на меня взглядом горгоны Медузы и просто завопил. Бедняжка. Я его прекрасно понимаю, это ж надо столько денег потерять! Ведь теперь-то эту газетенку за обанкротившееся предприятие не выдашь. И налоги придется платить.

Радиоприветы

Ушла я после той истории на радио. Вещали мы больше на всякие поселки и деревушки. А меня поставили вести ночной эфир. Золотое было времечко. Сначала я сердилась и плакала. Мол, ночь, никто меня слушать не станет. Кому это на селе надо? А потом, когда я успокоилась, решила, что буду для своей души вещать. Что мне хочется, то и будет. Все равно никто не слушает.

Так вот, первые выпуски начальство послушало для порядка, а потом на меня забили. И понеслось. Я ставила тяжелый панк-рок с нецензурным текстом, присылала сама себе приветы, объявляла погоду на позавчера.

Приветы у меня были такие: «Аграфена Кондратьевна шлет привет Авдотье Никитичне, и желает крепкого здоровья, и дарит эту мелодию». Затем я ставила «Реквием» Моцарта. Или делала пародию на одну известную радиостанцию, такую пресладкую, просто сопли в сахаре. Про любовь вещает. Так я придумала «Радио Ненависть». Специально для него ходила по пивным, по очередям, на рынки, записывала ругань. И был у меня на радио такой слоган: «Открой свою душу (эти слова прочитывались сладким голосом под сладенькую мелодию, исполненную на колокольчиках), открой свои чувства. Порадуй ближнего своего (далее шел металлический скрип, голос начинал хрипеть), расскажи, что ты о нем думаешь! В эфире „Радио Ненависть“».

Затем я радостным голосом вещала, что сейчас я передам привет от того-то тому-то. И ставила скандалы, записанные раньше, а после них разные песни. Например, «Дрянь» (гр. «Зоопарк»), песни Свина и прочее, столь же жизнерадостное, жизнеутверждающее.

О, какое это было счастливое времечко! Оно длилось до тех пор, пока однажды у главного редактора нашего радио не случилась ночью бессонница. Он взял и включил родное радио, думал, дай послушаю, чего вещает мне и людям на радость.

Включил и ушам своим не поверил. Выключил и снова включил, проверил, на той ли он волне, вдруг что не так. Оказалось, что именно на той. Он набрал мой номер, позвонил в студию.

А я была в таком грандиозном отрыве, что в ответ на его речи... «Вы „Масяню“ видели? Серию про директора», – так я ему и ответила.

Он позвонил еще раз. Трубку я больше не брала. Продолжала крутить свои любимые диски, «Сектор Газа», и пить пиво. Тогда он позвонил мне в прямой эфир. И я по глупости своей взяла трубку и... Такими словами меня еще не увольняли. Это было первое живое выступление в эфире. Меня все-таки услышали! Виват!

Десять лет без сна

Я спросила его, не скучает ли он по своим снам? Он ответил, что уже десять лет не видел снов. И засыпает, только если замучает себя. Я ответила ему, что просыпаюсь от желания кого-то обнять, а некого. Он сказал, что я еще ребенок. Мы никогда не виделись и говорили только по телефону. А познакомились в чате. Писали друг другу длинные письма со смайликами.

Не люблю дни рождения. Не люблю будни и праздники. Боюсь будущего и не хочу никому звонить. Одиночество – это тишина. Но не такая, что некого пригласить, а такая, что есть кого. Да никто не поймет, когда ты среди своих гостей слышишь только, как лес вдали зашумел и журавли потянулись.

Черно-белое спасение

Мне позвонили и сказали, что тебя больше нет. Нет. Нет.

Я повесила трубку, в которой были еще какие-то слова, и голос общего знакомого обвинял меня в предательстве. Перед глазами был ты. Ты, мой друг. Самый близкий и единственный. Были тишина и холод, пальцы зябли, по телику крутили дурацкую рекламу.

Казалось, что целый мир опустел и стал бессмысленным. Раз, два, три. Посмотри, скоро зима... птицы улетели на далекий юг.

Когда-то ты учил меня, как быть сильной. Ты всегда был со мной. Мы выросли с тобой вместе, в интернате, там, где детство ходит строем. Там, где мы годами не видим родителей. А потом они появлялись, и резко становилось ясно, насколько они постарели...

Однажды я, не узнав родного отца, спряталась и сидела, пока он не ушел. А ты нашел меня и дал кусок сахара. Мы сидели вместе в темноте и молчали.

Сегодня мне двадцать пять, мне позвонили, мне сказали, что тебя больше нет...

Я звонила знакомым, на телефоны доверия. Кто-то посоветовал мне смотреть комедии. Много и часто, до тех пор, пока не станет веселей.

Я уперлась глазами в фильмы. Несмешные американские, чопорные английские, тоскливые немецкие, наивные советские и так далее. Фильмы, фильмы, фильмы.

Перед глазами неслось и пестрило, я ничего не понимала, тупо смотрела, за окном шел снег.

Я уходила на улицу и ела мороженое на ходу. Дул сильный ветер, а я все ела и ела мороженое, смотрела с моста в ночь и молчала. Глотала холодные куски.

Надо мной кружились звезды, среди них, наверное, был ты, мой друг. Иногда мне кажется, что, если бы я знала, куда ты ушел и почему и встретимся ли мы снова, было бы легче.

А что касается предательства... Ведь правда, я действительно тебя предавала. Много и часто.

Мне хотелось любви. Глупо, правда?

Всякий раз, когда в моей жизни были романы, я исчезала и пропадала неизвестно куда, а потом сваливалась тебе как снег на голову. И ты всегда терпел это. И снова принимал меня. В любой день, в любую погоду, в любом виде. Всегда с хорошим настроением.

Ты помнишь, какое удивительное солнце сияло в то лето над нашими головами? Мороженое таяло, и пальцы становились липкими. Я капризничала и облизывала их. А потом мы мчались на большой скорости в товарном вагоне.

Мы смеялись. Ты помнишь? У меня были платье и шляпа. И огромное небо над нами.

Ты любил меня так сильно, что мне стало страшно. Ты ревновал меня, но тщательно скрывал это. Ты знал, что я зависима от тебя, твоей дружбы, от нежной опеки. Даже гиперопеки.

На словах ты всегда вдохновлял меня на самостоятельность, а на деле укреплял мою зависимость. Я не могла самостоятельно принять ни одно решение без тебя, не могла без твоих советов построить отношения с внешним миром.

Мне все время хотелось свернуться улиткой и спрятаться вглубь себя. Ты старательно уничтожал все связи со всеми, кроме тебя. Ты следил, чтобы я одевалась так, как нравится тебе. Читала твои любимые книги, смотрела твое любимое кино, сидела за столом и партой только с тобой.

Ты тщательно выращивал мои фобии и неуверенность в своих силах. И представлял в самые страшные минуты как полубог, единственный способный решить мои проблемы: ведь я сама не в состоянии. Ты строил для меня невидимую клетку, и я в нее почти угодила.

Но затем взбунтовалась и сбежала в другую страну. Как ты бесился, как старался помешать мне. Но я победила.

И вот я в чужой стране. Тебя нет. И никого нет. Никому не позвонить, не сказать. А если я и звоню кому, то чужие голоса ровно отвечают, что они заняты, перезвони, пойми, все будет хорошо.

Никогда не говорите при мне таких слов, что все будет хорошо. Пошлее только: как дела? Слова-отмазки, свидетельства равнодушия. Не улыбайтесь мне сладенько.

Какой фарс – потерять одного друга, чтобы понять, что у тебя нет друзей вообще. Смейся, паяц! Празднуй победу!

Курила много в те дни. Вдыхая носом дым, как лошадь. Как ты, короткими затяжками. Как ты. Как будто ты рядом. Как будто.

А потом кто-то ляпнул мне: ешь что хочешь, станет легче. И комедии не переставай смотреть. И я ухватила за это, как за мегасоломинку. Затем на огромном скаку влетела в магазин и ткнула пальцем в витрину. Мне с удивлением подали. Торт и водку, большую бутылку. Потом я пришла туда, где кассетами торгуют, и увидела Чарли Чаплина на обложках. Схватила.

Дома паялилась на экран, где спасительное черно-белое кувыркалось и смешило. Я давилась водкой, вталкивала в себя торт. Сладчайший, йогуртовый, он напоминал макулатуру. Черно-белое грустило.

Сколько дней это продолжалось, не помню. Но потом я вышла на улицу и увидела, что мир цветной настолько, насколько он может быть цветным зимой.

Это здорово резануло глаза после черно-белой сумятицы. Было так больно, что я даже глаза прищурила. И стояла, покачиваясь, как китайский болванчик.

Я по-прежнему люблю тебя. Нет, это не любовь, это болезнь. Я хочу вылечиться легко и беззаботно, как от хмари. Ты не поможешь мне. Я сама себя спасу. Все потому, что я верю в Мюнхгаузена, в его подвиг на болоте. Болото у меня есть, а косичка уже начала расти.

Я хочу освободиться. Сбежать, улететь, раствориться. Хочу быть далеко, быть недоступной, призрачной, хочу стереться из его памяти. Я вновь неуловима. Попробуй поймай! Попробуй!

Мир учит меня, как сберечь свой огонь и одиночество.

Что останется после меня? Только сияние, неуловимое ни умом, ни взглядом, непонятное вам и вряд ли знакомое.

Здорово вы загорели

А еще однажды я работала в одной конторе. Мне надо было организовывать какие-то поездки и прочее для ученых. Так вот, я вместо Норильска, где должна была проходить конференция по проблемам Арктики и Антарктики и всяких там полюсов, Южных и Северных, отправила одного пожилого профессора в мой любимый Ашхабад. На семинар по проблемам опустынивания.

Профессор очень удивился, и мои друзья, те, что этот семинар проводили, надо сказать, тоже были поражены.

Они мне звонили и вопили в трубку:

– Ты что, чокнулась? У него же доклад по пингвинам! Какие у нас могут быть пингвины? Ты что, забыла? Это же Туркмения! У нас полстраны – пустыня! Верблюды! Барханы! Где мы, а где Арктика с Антарктикой! Как ты умудрилась-то?

– Понимаете, я, когда ему документы оформляла, о родных краях думала – о Казахстане, Узбекистане, и о Туркмении вспомнила, погрустила. Мой дядя часто меня туда возил, для меня это тоже родная земля, моя земля. У меня там друзей много, любимых мест. Ностальгия. Ребята, простите, я нечаянно. Сама не заметила, как так получилось...

Ребята вздохнули: что поделать, не отправлять же профессора назад? Так вот, они устроили ему праздник, катали на верблюдах, угощали вкусностями, водили его повсюду. Дали прочесть доклад, устроили ему овации, подарили фотоальбомы с туркменскими видами. Старик был счастлив.

Приехал загоревший. Довольный.

– Неплохо вы в Норильске побывали! – говорили ему коллеги, встречая на пути. – Это вы там так загорели?

Конечно же, после той истории меня опять уволили.

Про алкаша Федьку

* * *

У нас в Питере сентябрь, идут теплые дожди, червяки смешные и фарфоровые улитки вылезли на дорогу. Местный алкаш Федька, мужик из соседнего дома, ползает пьяный по грязи и собирает их, чтобы прохожие не растоптали в спешке.

– Куда ж вы лезете, ну как дети малые, ей-богу! Раздавят же! – бормочет он и сует их в карманы. Мелкие живые существа расползаются из них, снова падая на гибельную дорогу. А он опять и опять их подбирает. Кого-то спас.

Пьяный и сосредоточенный.

У него жена умерла, у него дом превратился в проходную, он пьет, он поссорился со всем миром, у него работы нет, у него детей нет, его ненавидит вся родня, у него здоровья нет совсем, у него, у него, у него...

А вот ползает в грязи, собирает живность.

Жалко мелких.

И улыбается – кого-то спас.

* * *

Проходил Федька мимо хлебной лавки, пахнуло хлебом. Стоял и слушал запах. Жена любила печь пироги...

Нет, не зашел. Просто слушал запах. Просто память.

* * *

А вот – утро, у нас снова дождь, и какая-то пьяная бездомная женщина плачет на скамейке. Кто-то обидел, видно: лицо в синяках. (А у нас тут загс недалеко.) Федька нашел в урне грязную фату и

недопитое шампанское в бутылке с разбитым горлышком. Отряхнул фату и дал ее женщине, достал бутылку, налил себе в ладонь, «а то чего ты будешь из разбитого пить, еще поранишься». Женщина пила из его ладони, что-то говорила... Федька слушал и кивал: «Ничего, всё еще будет. А давай как будто у нас тоже немножко праздник?» Она согласилась и надела на голову фату.

Потом они целовались.

А дождь всё шел и шел, и ветер холодный...

Это ничего, у нас ведь тоже немножко праздник! Самую малость – но все-таки праздник.

Вынесла им печенья, обрадовались, взяли его и ушли куда-то. А я не стала им мешать...

* * *

Это было лето, самый край его. Я нашла на улице микроскоп – валялся в луже. Грязный, откуда он взялся – не знаю.

Сидела на скамейке и смотрела в него, про саму себя смотрела. Капельку слюны, снежинку перхоти, волос, кровь.

Как необычно и интересно двигаются красивые живые клетки.

Что это? Как это? И кто все это придумал и сделал?

И надо же, я, кажется, маленькая ростом, а вон какая махина, сколько помещается во мне всякого!

А потом пришел Федька, и мы стали вместе всякое разглядывать: крылышко стрекозы, листок дерева, крошку земли.

Солнце светило тогда, заканчивалось лето.

А у нас чудо в руках – микроскоп.

Я его потом Федьке подарила. Чудесами ведь надо делиться! Обещал не пропить. Потому что иногда надо заглянуть во что-то такое и что-то понять, чему-то удивиться – а иначе не прожить.

Иногда надо.

* * *

А вот еще кое-что про него.

Увидела я, что Федька с некоторых пор стал свои рубашки и штаны стирать, вон, на балкон вывесил. Значит, в себя приходит, значит, всё еще будет. Значит, просто момент такой, когда горевать нужно было, все горе выгоревать. Чтобы нарывом не гноилось внутри.

Такие дела...

Как Гоша крушил милицейские надежды

Однажды Гоша решил заняться бизнесом – продавать детское питание. Ну, такое, в сухом виде, порошковом, у кого есть дети, меня поймут. Он продал старенький «запорожец» и на все деньги купил множество таких пакетов. И открыл лавку. Но дело не пошло, никак.

То ли мамы в Орше, его родном городе, уж как-то очень много молока... даже не знаю, как сказать: «дают», «производят»?.. То ли был неурожай младенцев в тот год. А такое в России бывает, неурожай младенцев, кто живет здесь, тот знает. То ли просто карма у Гоши такая. Может, у него кармический долг – в прошлой жизни он был разбойником, который ограбил лавку с детским питанием и вынес оттуда всё. И теперь вот расплачивается.

Гоша позвонил нашему общему другу – астрологу-эзотерику-массажисту Егорке, который надоумил его, что, мол, это карма твоя над тобой довлеет. Брось всё и иди в пустыню. Гоша ответил: не могу в пустыню, у меня давление. А можно в Крым? Там море, песочек, опять же, почти как в пустыне.

Егорка сказал, что раз такое дело, то можно. Только обязательно занимайся йогой! И медитируй. Что там в Крыму есть? Ну вот что найдешь, на то и медитируй. И еще какие-то советы надавал. Благословил на подвиг, мол, да пребудет с тобой сила, – и отпустил с миром. Ом шанти!

Гоша лавку закрыл, написал бумажку, мол, все ушли в Крым-Рым, поцеловал старушку-мать и уехал, автостопом, набив рюкзак детским питанием. Ну надо же ведь было ему что-то есть в дороге! И вообще что-то делать с этим питанием...

Долго ли, коротко – приехал. И стал жить, путешествуя туда-сюда, купался голым, занимался йогой, ел питание. Чувствовал себя просто ребенком: утром молочко, в обед молочко, на ужин молочко.

И все бы хорошо, кабы не... В это время в Крыму какая-то сволочь придумала бороться с наркотиками: наркодилеров отлавливать, давать им пенделей или в угол ставить, чтобы неповадно было. А Гоша, он хоть и добрый, но на вид довольно странный. Ну

представьте себе, вот если бы вы были милиционером, который едет себе, едет, и вдруг перед ним на берегу моря – голый мужик стоит в невообразимой позе и какими-то непонятными словами сам с собой разговаривает. Нет, не турист. Точно – задержать, обыскать и проверить. А что у вас в рюкзаке? Ага, пакетики! А что в пакетиках? О, порошок! Белый!

Милиционер берет Гошу в охапку и везет в участок. Человека в погонах осеняет, он чувствует, как звезды загораются на его погонах, это ж сколько наркотиков, целый рюкзак! Много, много звезд загорится! Сотрудник в погонах пробует эту гадость и сразу понимает, что зря его осенило, и звезды гаснут, так и не загоревшись. Сотрудник протыкает все пакеты один за другим, после чего падает, чуть не плача, в свое кресло. Нет, его надеждам не сбыться и радость была напрасна!

Смотрит доблестный милиционер на Гошу, а тот хоть и за решеткой, а опять за свое: вон какие фортели выделяет. «Повбивал бы!» – мысленно звереет сотрудник, и берет нашего Гошу, и выкидывает его на фиг из участка вместе с рюкзаком. И вылетает Гоша на свободу.

Гошу таким образом много раз возили, у него просто турне по участкам Крыма прошло. Он видел, сколько раз при виде его порошка у милиционеров загорались глаза, он видел в их глазах рождение надежды и гибель ее...

Гоша похудел, загорел и многое понял про эту жизнь. А самое главное, он понял, что больше никогда, никогда в жизни не будет есть эту гадость – детское питание.

Брови надо выщипывать

Однажды, когда я была маленькая девочка, лет пяти, мне приснилось, что я Брежнев, причем самый настоящий. И вот проходит какая-то очень важная встреча с какими-то очень важными дядьками из Политбюро. И я со всеми целуюсь. Со всеми Сусловыми и Андроповыми, или как их там, и всякими другими непонятными мне дядьками.

Они толстые, старые и мерзкие.

Изо рта у них пахнет.

А они все тянутся ко мне и губы свои тянут. Прямо ужас!

И мне одиноко и печально. И страшно до жути.

И никто не может понять, что я всего лишь пятилетняя девочка. Здесь вообще никто не хочет меня понять.

Проснувшись, триста миллионов раз почистила зубы. Затем вышла на лестничную площадку, а там две соседки разговаривают. Одна другой советует:

– Кстати, брови надо выщипывать, а то густые уже.

Я вздрогнула.

Умирающий лебедь на трассе

* * *

Это случилось очень давно. Однажды я дико, до искр из глаз влюбилась в одного эколога. Он, разумеется, меня не любил, в его сердце была только природа, а точнее только птицы, их права, жизнь и так далее. Так вот... Для того чтобы привлечь его внимание, я предложила выйти на берег Финского залива в балетных пачках с плакатами «Не стреляйте в белых лебедей!»

(А между тем уже глубокая осень, и да, уже первый питерский снег.) Ну, конечно, никто не согласился. Тогда я сказала, что сама надену белую пачку и пойду. И надела, и пошла, ради любви. И не знаю, насколько я была похожа на лебедь белую, а вот на синего цыпленка «за рубль десять» советскими – точно!

Мой любимый эколог был в восторге, и впервые, кажется, заметил меня, и пораился моему мужеству, да что там, я сама себя поразила. Я была счастлива: наконец-то меня увидели, ура!

Митинг в защиту птиц все-таки состоялся. Народ кутался в свои куртки и шарфы, а я стояла вмерзшая в лед и уже зубами (руки не слушались) держала плакат. Балетная пачка гудела от ветра и задиралась выше головы, я боялась, что меня унесет, как зонтик...

После митинга народ собрался в машине, а я решила сбегать в кусты.

Ну и, конечно, уехали, меня забыли...

И шла я по трассе одинокая, в балетной пачке, прикрываясь ею от ветра, и тихо радовалась, что возлюбленный защищает все-таки птиц, а не змей, там, или рыб, а то бы вообще... на таком-то ветру. И как жаль, что он не отстаивает права каких-нибудь лис, медведей или на крайний случай песцов. И господи, почему так больно быть нелюбимым, но любящим одиноким лебедем в этой северной осени... на этой ледяной трассе...

На пути встретились какие-то мужики. Они сидели, пили водочку и зябли в своих ватниках. Я вышла к ним из тумана:

– Здравствуйте! А до Питера далеко?

Они оторопело кивнули (их вполне можно понять, не каждый день к тебе такое из тумана выходит).

– А в какую сторону? Я правильно иду?

Они очумело махнули куда-то.

Я отправилась дальше. Слышу в спину:

– Мужики, так вот она какая, белая горячка! Кажется, я уже допил.

– Серега, это не ты, это мы все. «Как здорово, что все мы здесь сегодня допились»...

– Бросаем, ага?

Но мне уже было не до них. Я шла и рыдала, отчаяние заполнило мою опустошенную душу. Счастье было так возможно, так близко, рукой погладить по щеке, так нет же! Забыл, бросил на берегу! Оставил! Сама виновата, зря в кусты ходила. Хочешь страсти и любви – терпи, забудь про кусты!

Вдруг рядом со мной остановилась машина, из нее выскочил какой-то парень и бросился ко мне навстречу. «Ну вот, наконец-то меня спасут, обогреют, подбросят до города», – подумала я.

Незнакомец встал у моего плеча.

– Что, холодно? А ты крутая... это что, флешмоб? Ты что, девушка-морж?

Затем он вынул из кармана мобильник и сфотографировался рядом со мной. После чего опять сел в машину и уехал, сволочь!

В ту секунду я прокляла всех мальчиков на свете и дала себе клятву не любить больше экологов. И вообще никого... Но, как выяснилось, зря.

Ребята, мои соратники, все-таки вспомнили обо мне и помчались искать. И нашли, как раз вовремя, в тот миг, когда я практически потеряла веру в человечество. Они приехали, забрали меня в теплую машину и не дали погибнуть. А эколог меня так и не полюбил. Он, наверное, не понял, что я тоже часть природы... Что я пусть дурная, но тоже немножко птица, самую малость...

Кстати, про природу: в тот вечер мой плакат работал как часы, в белых лебедях точно никто не стрелял.

А потом я влюбилась в одного молодого режиссера. Разумеется, безответно. Как же может быть иначе в моей дурацкой жизни?.. Он работал на сериале про ментов ассистентом по массовке, и ему как раз нужна была девушка на роль трупа. Он носился по всему универу и искал ту единственную, которая согласится ради спасения его карьеры повалиться неподвижной тушкой в грязи. И я, конечно же, нашлась. На что только не пойдешь ради любви!..

Так вот, целую смену (кинематографисты оценят) я лежала в луже, в тоненьком розовом шелковом платьишке, вся в какой-то липкой гадости, изображающей кровь; сверху лил дождь из шланга. И ветер, конечно, куда же без ветра, это же вам Питер, не Канары какие-нибудь!

А любимый суетился, массовку строил. А я улыбалась. На меня орали: «Чего улыбаешься? Пожалуйста, помрачнее, сделай лицо суровым! А то у тебя такой вид, как будто ты Оскара получила!»

А я слышу где-то тут, на киноплощадке, ЕГО голос и таю, и губы сами улыбаются – хоть скотчем их заклей.

Короче, уволили меня, «сняли с роли». Сказали: «Слишком жизнерадостный труп. Из тебя счастье просто сочтется, его можно в банки трехлитровые собирать и грустным людям как кровь переливать, прямо в вену, чтобы не тосковали. Короче, ты не по адресу. Нам печаль суровая нужна! Иди! Свободна!»

Я ушла. А любимый меня догонял и деньги за съемку совал, благодарил, что-то такое говорил про то, что спасибо, хотя вряд ли в серию войдет, и еще это жуткое: «Давай останемся друзьями!»

А я стояла, мокрая и окровавленная, и думала: «Эх, и ничего-то ты не понимаешь! Вот сидишь в своем ненастоящем мире, где даже дождь ненатуральный, что уж говорить про дружбу?»

И ушла я бродить по коридорам «Ленфильма», оставляя за собой кровавые следы...

И было очень светло мне. И очень грустно, что да... больше нет.

Такое бывает: можно любить всю жизнь, дышать через раз, смотреть, как стынет взорванное сердце, – и вдруг малейший жест, слово, полувзгляд, и все... гармония совершенства сдохла! И ты понимаешь, что теперь ты этого человека ну точно не любишь, что он для тебя больше не идеал и не кумир вовсе. И кровь, оказывается, фальшивая, и дождь.

Однажды любила редактора одной районной газеты (ну, конечно же, опять безответно – подумать только, какая неожиданность!). Писала статейки про жилищные проблемы. Ну, там, если крыша слетела, лампочки в парадном перегорели, газа нет, свет отключили...

Так вот, мой редактор гонял меня по всяким подвалам и чердакам (куда никто не хотел идти), я послушно лазила всюду и возвращалась с репортажами в тысячу строк. Потому что, опять-таки, чего не сделаешь ради любви?..

Он читал мои тексты и ругался:

– Не вижу социальной озабоченности! Это же не жалоба на жилищников, это просто поэма какая-то о протекших трубах и затопленных подвалах... Это какое-то признание в любви! Я разве этого просил?!

Я переписывала и плакала, что опять, да, не любят меня, и не понимают чувств моих прекрасных, и сквозь строчки прочесть их не могут.

Однажды он снова отправил меня на место происхождения, а сам укатил на рок-концерт с какой-то там Зиной.

И вот стою я у какого-то дома на Василеостровском – прорвало канализацию, и весь дом заполнило гуано. Я подходила к жителям и собирала в диктофон их обиды и злость. И сама еле сдерживалась, чтобы не зареветь от ревности и горя. Меня променять на какую-то там Зиночку! «Ведь я же лучше собаки!»

А потом я нарвалась на одного чудесного старика. Он воевал, попал в плен, после плена оказался в лагере; в советское время с бывшими пленными сурово обходились, да. Так вот, у нас зашел обо всем этом разговор. Старик бурчал, вспоминал, сравнивал, где как было: у немцев, у наших, условия, там, и прочие различия.

А я стояла рядышком и записывала на диктофон, и думала, что вся эта история с редактором и Зиной – полная фигня по сравнению с тем, что пережил этот человек.

Старик: Прости, ты откуда? Забыл...

Я: Из газеты, из районки...

Старик: А чего пишут в твоей районке? Прогноз погоды есть?

Я: Есть. Солнечно, без осадков, без сильного ветра.

Старик: Ну, я рыбачить тогда. Пока солнце, пока тепло и дождя нет. Хочешь со мной?

И ушли мы к воде. И чайки кричали, и облака спали в небе. Мы болтали о том о сем, а в районку я больше не приходила. Там до сих пор работает тот самый редактор и та самая Зиновка и валяется моя забытая шляпа.

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины?

Утро, а точнее часов пять. Я все еще сплю, как многие и немногие нормальные и не сильно нормальные люди. Вдруг – долгий-долгий звонок телефона. Хватаю трубку.

– Алло, ты ждала моего звонка?

– Ой. Может быть. Который час? Пять?! А кто это?

– Это Марк.

– А, привет, Марк! Рада слышать!

(Кто такой этот Марк, я не помню, я еще во сне летаю, плаваю среди русалок.)

– А что у тебя с голосом?

– Охрипла немного. Простыла.

– Бывает. Ты береги себя, мой добрый малыш.

– Спасибо, ты тоже себя береги.

– Дорогая моя, я хочу сообщить тебе прекрасную новость. Рита выходит замуж за Федю.

– Чудесно! Я так рада за них.

(Кто такая Рита? Кто такой Федя? Не помню, хоть убей, но я и правда рада, что люди встречаются, люди влюбляются, женятся!)

И так далее, и тому подобное.

Я с Марком радостно поговорила о семейных ценностях, а заодно о ценах на газ и электричество, не приходя в сознание и вообще не просыпаясь. Я продиктовала ему рецепты тортов и пирогов, сообщила о том, что, знаешь, мама опять не очень.

Дела мои не идут и не лежат, а не пойми что. И я сама не знаю, что делать. Живу криво и все такое.

Продолжаю дышать. И шуточки все мои, шуточки. Посмеялись вместе, поулыбались друг другу в трубки.

Марк признался, что любит меня всю жизнь и до сих пор не может забыть.

– Я тебя тоже не могу, Марк, ты был прекрасен! – Тетин урок – бывшим всегда говорить только добрые слова – не прошел зря! В

полусне от зубов отлетают они – добрые и счастливые слова. Тетка, ты не зря меня учила.

(Кто такой Марк? ААА! У меня взорвутся мозг и нервная система.)

– А ты бы пошла за меня замуж, если бы...

– Конечно, Марк! Ты же знаешь! Но теперь обстоятельства сложились так, что я... я не то что замуж, я вообще никуда не иду. Вот вчера звали на ужин при свечах в дружеской компании, плюнула и не пошла. Не хочется.

– Ты так изменилась, ты стала такая веселая, милая, такая нежная и добрая. Я давно не был так счастлив, с тобой так приятно общаться.

– Спасибо, Марк! Это очень любезно с твоей стороны, что мое утро началось с таких светлых слов.

(Кто такой Марк??? Вспоминай, дурья твоя башка! Во сне перебираю мысленно всех своих бывших; блин, по-моему, не было среди них такого, или я с ума сошла? Нет, я точно сошла с ума! Ничего, «и меня вылечат, и тебя вылечат...»)

– Еще секунду поговорю с тобой, послушаю твой голос и опять брошу все и сорвусь к тебе в Питер из Праги.

– Откуда, прости?

– Из Праги.

– А... Чудно.

– Ты помнишь наши долгие ночные прогулки по набережным? Наши страстные поцелуи?

– Конечно! Просто как будто вчера все это было!

– Хочешь вернуться в Прагу? Я все устрою.

– Вернуться? Блин! Да я никогда не бывала там.

– То есть как? Леночка, что с тобой, неужели ты не помнишь наши ночи в Праге?

– Прости, Марк, но я не Леночка. Я Куросава. Не знаю, почему ты мне позвонил, наверное, телефон перепутал. А я еще сплю. Но все равно так приятно слышать твой голос!

(Марк, милый, только не грусти! Ну что поделать, если так дурно всё получается?)

Попрощались мило, повесили трубки.

Через несколько секунд опять звонит.

– Алло! Это Марк. Куросава, это ты?

– Да, пока у меня не случилось раздвоения личности и, по-моему, это все еще я.

– Я вспомнил: я звонил тебе, чтобы задать вопрос по работе. Ты не хочешь написать сценарий для одного мероприятия? Оно будет проходить в Питере. Я вернусь и позвоню тебе. Ладно?

– Ладно.

– Ты прости меня за предыдущий звонок. Я думал о Лене, а звонил тебе, по делу, срочно.

– Да нет, ничего. Я рада. Не каждый день мне признаются в любви. Такие моменты надо ценить. Я ценю.

– Тогда я тебе напишу? Твое мыло у меня есть...

– Да, напиши, пожалуйста. Буду ждать.

– И знаешь, Куросава, мне так жаль, что ты не моя бывшая, с тобой так здорово поговорить, вспомнить былое. Ты волшебным образом вспоминаешь то, чего не было. Я просто душой отдохнул, поговорив с тобой.

– Да не проблема, если что, звони всегда. Мне не жалко.

Короче, Карлсон улетел, но обещал вернуться.

Распрощались, пошаркали ножками, раскланялись. Повесили трубки, послушали короткие гудки.

И отправилась я спать. С мыслью о том, что как здорово, что Марк позвонил и что мы так душевно поговорили! И что он еще позвонит! И что я живу так криво. И что я не его бывшая. И что его бывшая – не я. И что утро такое невероятное. И что я сейчас опять вернусь в свой прекрасный сон с удивительными русалками. Ждите меня, не расплывайтесь!

Игрушечная фамилия

Ну чего рассказывать? Ну правда, чего? Ну, ухаживал за мной Зябликов – помните? Все ходил за мной и ходил по пятам, ни шагу назад, как будто позади Москва. Хотел он меня очень, до дрожи в коленках. А я его – нет. Ну ни капли. Но как-то стеснялась ему об этом сказать.

А как скажешь? Вдруг у него из-за моего отказа комплексы появятся, импотенция, блин. И тогда меня совесть точно замучает. А мне его жалко, хороший ведь парень, зла мне не делал...

И тогда я ему так сказала:

– Ты, Зябликов, мне по душе. Только вот фамилия у тебя какая-то игрушечная. Я не могу. Прости.

Пропал, исчез, нету его. Ну, думаю, вдруг он с собой что-нибудь сделал, он ведь у нас человек творческий, ранимый, хоть и фрезеровщик! На всякий случай проверила через знакомых, да нет, говорят, живой, здоровый. Мне даже как-то обидно стало: мог бы хоть чуточку расстроиться, все-таки такая прекрасная девушка отказывает.

И вот через полгода возникает опять. И паспорт мне несет. Поменял фамилию: был Зябликов, стал Нашатыркин.

И глаза счастливые, мечтательные, ждет он сказки от меня.

И не смогла я ему отказать. Ну что тут скажешь? Смотрит на меня, как дитя на Деда Мороза, подарка ждет. Целый год ждал, да что там, всю жизнь!

И... И мне его так жалко вдруг стало. Пришлось дать.

Эзотерика

Ты же знаешь, я очень уважаю всякую эзотерику. Очень. Верю во все это, в реинкарнацию и так далее. Так вот. Появился у меня мужчина, правда, ну совсем не духовный, но зато какой шикарный! Я его в гости пригласила. Пришел.

А у меня там, в комнате, прабабушкины рейтузы лежат и челюсть ее вставная. А он схватил и давай играть этой челюстью – волосы ею причесывать. Бабушка так же любила шутить. Я когда это увидела, у меня челюсть отвисла.

Ты помнишь, как далай-ламу ищут, а точнее его реинкарнацию? Берут вещи его и детям суют, кто вещи возьмет, тот и лама. Так вот, я подумала: а что если он – реинкарнация моей прабабушки? Он рейтузы к себе прикладывал, и на шею как шарф наматывал, и на голову как шапочку надевал. «Ой, смотри, у меня шапочка, „Уставший заяц“ называется, видишь, от усталости ушки висят?» Как она, ну совсем! Шуточки больно похожи. Меня аж передернуло.

Думаешь, я с ним переспала? Фиг! Ты что, сдурела?! Ты смогла бы переспать со своей прабабушкой? А жаль, да. Такой хороший.

Вот думаю, как же ему отказать, чтобы себе и ему карму не попортить, ауру не затемнить.

Как бы его послать, да такими словами, чтобы у него от огорчения, не дай бог, чакры не закрылись.

Вот-вот.

И ты знаешь, вот рассказала тебе, и вдруг так жалко его стало. Может, мне ему все-таки дать? Ну немножко, самую чуточку.

Из разговора двух влюбленных детей

– Знаешь, почему люди умирают?

– Нет...

– Все просто! Очень просто. Они дышат, дышат, дышат, всю жизнь дышат, а потом устают. И больше не дышат. И умирают... Вот так, понимаешь? Все очень просто.

– Надо прислушаться к себе, может, я тоже устала дышать?

– Прислушалась?

– Ну.

– И как?

– Кажется, я еще не устала...

– Ну и хорошо. Значит, так надо. И не пугай меня, а то я подумал, что ты умираешь!

– Ладно, не буду. А почему люди живут?

– Живут, потому что любят, им тогда все легко – и работу работать, и учебу учить, и дышать. Знаешь, как легко дышится, когда любишь?..

– Я люблю тебя...

– И я люблю тебя...

– А ведь и правда, дышать стало легче...

– И мне тоже...

Ветка сирени из соседнего двора

(история в смс-ках)

Ночь повсюду. Двор уснул, и только бездомные кошки кричат, у них весна.

Миша: Ксения, где ты?

Ксения: Это не Ксения! Разве она вам не сказала? Это теперь мой номер.

Миша: А где Ксения?

Ксения: Она уехала и телефон мне продала, вместе с номером. Она говорила, что все знают, что ее номер изменился. Мне все-таки надо было номер переписать на себя.

Миша: А где она?

Ксения: Правда, не знаю. Она сегодня днем уехала.

Миша: Ага, как раз я был на работе. А с ней был мальчик, рыжий, четыре года, одет в синюю куртку?

Ксения: Да, был, они уехали вместе.

Миша: А почему вы не подходите к трубке, а отвечаете только на смс?

Ксения: Потому что я глухая. Я не говорящая.

Миша: А зачем глухим телефон?

Ксения: Ну да! А зачем глухим вообще жить?

Миша: Вы обиделись?

Ксения: Нет, то есть да. Я пишу смс по работе, друзьям, родным и вот вам сейчас.

Миша: А кем вы работаете?

Ксения: Я вышиваю бисером, гладью. Ткани, вещи разные и даже свадебные платья. А вам зачем? Вы, кажется, жену искать собирались.

Миша: А то свадебное платье, для Ксении, тоже вы?

Ксения: Да, я. Думаю, вряд ли вы меня помните, хотя я была на вашей свадьбе.

Миша: Да, я вас почти не помню. А Ксения говорила, что собирается меня бросить?

Ксения: Нет, мы с ней не подруги, она никогда не делится. Просто ее сводная сестра училась со мной в одной школе, и все.

Миша: А я и не знал, что у Ксении есть сводная глухая сестра.

Ксения: Похоже, что вы вообще мало о ней что знали.

Миша: С ней наверняка был такой высокий мужчина, со шрамом на щеке...

Ксения: Да. Был.

Миша: Это мой брат.

Ксения: Не знаю, что и сказать. Они собрали все вещи, даже игрушек не оставили, и уехали. Еще днем.

Миша: Вы можете спуститься вниз? Я стою под вашим окном.

Ксения: Зачем?

Миша: Я хочу поговорить с вами. Мне нужно побыть с кем-то. Очень тяжело одному.

Ксения: Вы что, знаете язык жестов, как же мы будем с вами разговаривать? Я могу только писать смс. И вообще уже ночь, пора спать. И я вам не жилетка для слез.

Миша: Скажите, а как вас зовут?

Ксения: Зачем? Вы все равно меня почти не помните. Ничем помочь я вам не могу. И вообще я уже сплю.

Миша: Кто же вы?

Ксения: Я человек, которому завтра с утра на работу. У меня куча заказов, мне нужно отдыхать.

Миша: Выходите же сюда, я здесь.

Ксения: Боже мой, вы же пьяны! Вы еле на ногах стоите! Конечно, все понятно, но все равно это не повод, чтобы так опускаться! Держите себя в руках!

Миша: Вы такая удивительная, с длинными волосами, вы выглянули, и я даже задохнулся!

Ксения: Это всё потому, что вы пьяны!

Миша: А вы строги со мной. Неужели вам ни капли меня не жаль?

Ксения: Если честно, то нет. Вы сами не смогли ее удержать. Вы, говорящие, только говорите, но не слышите никого. Идите же спать, скоро утро. У меня с утра столько клиентов, столько свадеб, весна.

Миша: А вы замужем?

Ксения: Нет. Я столько свадебных платьев вышила, а сама ни разу и никогда. И не жалею, одной проще.

Миша: Я так не думаю.

Ксения: Простите, а что вы можете думать, вы посмотрите на себя. Уж вам-то есть о чем жалеть! Мне не о чем.

Миша: Выгляните еще раз в окно! Я хочу на вас посмотреть. Я уйду, сразу же, обещаю.

Ксения: Ну, если обещаете. А зачем вам на меня смотреть?

Миша: Вы как ветка сирени, такая же красивая.

Ксения: Ну и пожалуйста, в соседнем дворе сколько угодно сирени, там как раз такие кусты, можете идти и любоваться.

Миша: Милая, вы жестоки!

Ксения: Не понимаю, то вы плачете, что ваша жена сбежала с вашим братом, то заигрываете со мной. Вам вообще-то что нужно?

Миша: Я и сам ничего не соображаю. Наверное, слишком много выпил. Или вы слишком красивая. Или вы слишком красивая, потому что я слишком много выпил.

Ксения: Пьяница и нахал. Все, заканчиваем разговор!

Миша: Нет, только не это. Не молчите! Простите меня еще раз. Разве вас никогда не обижали и не бросали?

Ксения: Я сплю, прошу не беспокоить меня.

Миша: Неужели вы не понимаете меня, вас никогда не обманывал любимый человек?

Ксения: Чего вы от меня хотите? Зачем вы сейчас лезете ко мне со своими вопросами?

Миша: Ничего. У меня в голове как будто ураган пронесся, я не в себе.

Ксения: Я вас понимаю, мне действительно жаль вас. Но я сама ничего не знаю. Я даже не знаю, встречу ли я еще раз Ксению. Эту комнату мне сдает ее мама. Обратитесь к ней.

Миша: Она ничего не говорит.

Ксения: Ну что ж, значит, вам нужно забыть Ксению. И жить как-то дальше. Другие ведь живут. Вот вы кем работаете?

Миша: Я водитель на скорой помощи.

Ксения: Вот видите, какой у вас полезный труд, вы людям помогаете!

Миша: Да уж, помогаю. А можно я вам завтра напишу?

Ксения: Не знаю. Ну хорошо, напишите. Только коротко, а то вы такой страшный зануда!

Миша: Да, я такой! Может, потому оно так и вышло всё.

Ксения: Не думайте об этом, идите спать.

Миша: Значит, до завтра?

Ксения: Значит, до завтра. То есть уже до сегодня!

Миша: Спасибо вам за разговор.

Ксения: Не за что.

Миша: А все-таки как вас зовут?

Ксения: Зоя.

Миша: А я Миша.

Ксения: Я знаю, я же была у вас на свадьбе.

Миша: Ах да! Опять я забыл. Но вы простите меня. Я как всегда.

Ну, пусть вам приснится белый слон. Говорят, что это к счастью.

Ксения: Спасибо. И вам – целые стада.

Миша: Пока!

Ксения: Пока!

Скоро утро. И машины уже забегали по улицам. Только вот печальные бездомные кошки все никак не могут успокоиться, все кричат и кричат. Беспокойное это дело, весна!

Родить клоуна

(история в смс-ках)

Котик: Привет! Ты где?

Малышко: Где-где? В Караганде! Я в роддоме, идиот!

Котик: Как в роддоме? А что случилось?

Малышко: Рожая я! Кретин! Зачем еще в роддом ездят? Нет, знаешь, я сюда в крестики-нолики пришла играть, вот сыграю партейку и домой пойду!

Котик: Так я перезвоню?

Малышко: Блин, вот пошли папаши! Раньше люди с цветами встречали! Блин, женились до и после этого! А теперь что за народ! Он мне перезвонит! Как говорят в моей родной Одессе, вы такой смешной, что от вас клоуна родить можно! Тьфу, тьфу, тьфу, не дай бог! Перед родами такое шутить!

Котик: Ну не сердись, ты же умница, все понимаешь...

Малышко: Нет, мы не умница, мы – умницы!

Котик: В смысле?

Малышко: Нас двое, я и мальчик!

Котик: Ах, ну да! Я и забыл!

Малышко: Нет, вы только посмотрите! Он еще и забыл!

Через некоторое время.

Котик: Ну, как ты? Соли отошли?

Малышко: Соли? Какие соли, болван?! Воды!

Котик: Ну конечно, как же я мог!

Котик: Ну как?

Малышко: Что как?

Котик: Ну, эти, воды!

Малышко: Нет еще!

Котик: А это больно?

Малышко: Сам попробуй!

Котик: Нет, я серьезно!

Малышко: И я!

Котик: Ну, а если честно?

Малышко: ООООООО! Нет, знаешь, больно, только когда смеешься! Так что не смей меня!

Котик: Не буду. Боже мой, я так волнуюсь, я сейчас сознание потеряю!

Малышко: Невероятно! Рожая я, а сознание теряешь ты! Милый, ничего страшного не происходит, просто рожая, и все! Ведь это не конец света! Знаешь, женщины вообще-то иногда рожают!

Котик: Значит, я передам, что ты на собрание не придешь!

Малышко: Теперь-то я точно не приду! Ты уж передай, сделай милость! Заодно Расскажи, кто в этом виноват. Пусть люди порадуются!

Котик: Кстати, а почему мальчик?

Малышко: В смысле?

Котик: Ты написала, что у нас мальчик, а я был уверен, что у нас девочка!

Малышко: У тебя случайно фамилия не УЗИ?

Котик: Нет. Прости, я, наверное, опять что-то забыл.

Малышко: Ты жениться на мне забыл! Ну почему я должна такие вещи напоминать?

Котик: А давай поженимся, когда хочешь. Хочешь, приеду на машине, с цветами! Как скажешь, так и будет! Только роди, пожалуйста, нормально, без осложнений! Я ведь слышал, такие жуткие осложнения бывают, даже некоторые умирают в родах. Я в Интернете читал!

Малышко: Он в Интернете читал! Да, ты умеешь приободрить! Вселить надежду и веру в гибнущего человека! Оставь надежду, всяк кто тебя знает!

Котик: Ну я же волнуюсь! Я ведь не хухры-мухры!

Малышко: Мухры-хухры!

Котик: Ну, издевайся! Издевайся! Имеешь право!

Малышко: Только право и имею. Всё растеряла, даже цепи.

Котик: Ну как, живот не болит? Голова не кружится?

Малышко: Ты еще спроси меня, а не тянет ли меня на соленьенькое!

Котик: А что, тянет?

Малышко: Ты не находишь, что ты немного запоздал со своим вопросом? Месяцев так на девять. Видимо, когда тебя делали, мама не

хотела и папа не старался!

Котик: Не понимаю я твой одесский юмор. Ты это о чем?

Малышко: И вот от этого человека я рожаю ребенка! Даже самой стыдно! Прости меня, сынок!

Котик: А что, чем я хуже других?!

Малышко: Ладно, завязываем с дискуссией, мне уже пора! И не звони, пожалуйста, все-таки это роддом, имей совесть. Дети с мамами в палатах спят, ночь вокруг. Лучше напиши, так тише и проще.

Еще через некоторое время.

Котик: Привет! Ну как, родила?

Малышко: Ну, родила! Тебе чего?

Котик: На меня похож?

Малышко: Нет, слава богу! На самом деле он пока ни на кого не похож. У него такой уставший вид! Как будто он сам себя рожал!

Котик: А глазки у него какие?

Малышко: Сонные! Закрытые! Спит он!

Котик: Ну какие?

Малышко: Как у всех в этом возрасте – синие.

Котик: А как ты себя чувствуешь?

Малышко: О, и про меня вспомнили! Как-как?! Лучше не спрашивай!

Котик: Боже мой, за что такие муки?!

Малышко: Опять! ООООООО! Прекрати! Лучше поздравь! Все-таки родила ребенка, стала мамой, ты стал папой! Я тебя поздравляю!

Котик: И я тебя! Я так тебя люблю! Просто невероятно как! Как только выйдешь из роддома, поженимся!

Малышко: Выйдешь из роддома, как из зоны. Она мотала срок, он долго ждал ее.

Котик: Ну вот, ты снова, знаешь, пока ты рожала, я тоже молодец, я сдал баланс!

Малышко: Какой еще баланс?

Котик: Финансовый! Все отчеты сдал, сметы там!

Малышко: Какие еще сметы?

Котик: Ну как какие! Премию дадут! Вот купим малышу коляску! Суперскую!

Малышко: Так ты теперь еще и бухгалтер?! Что ты пил?

Котик: Я трезв как стеклышко!

Малышко: Признавайся! Я ведь тебе почти жена!

Котик: В чем признаваться, в том, что я трезвый счастливый бухгалтер – отец и жених!

Малышко: Подожди, ты что, уволился из бюро переводов?

Котик: Какие еще переводы? Это что, на тебя так роды действуют? Я про такое тоже читал, это называется «послеродовая депрессия».

Малышко: Что ты мелешь?

Котик: Нет, это ты что-то мелешь! Я никогда не был переводчиком! Не мог же я и это забыть или перепутать!

Малышко: Мог, не мог, с тебя станется!

Котик: Наташ, ну, может, хватит! Ты всегда всем недовольна!

Малышко: Как ты меня назвал?

Котик: А как надо было?

Малышко: Вообще меня с утра Верой звали! Нет, ты точно пьян! Хотя у тебя есть на то причины! Все-таки стал папой!

Котик: Вера? Вера Борисовна Малышко?

Малышко: Ну да! Костик! Ну наконец-то!

Котик: Вера Борисовна! Простите, пожалуйста, я ошибся! Это я, Котик Валентин Валентинович. Я вам как-то финотчеты оформлял, помните? Беру свои слова обратно! Все!

Малышко: Значит, свадьбы не будет! Обидно, жаль, а ведь мы практически начали понимать друг друга.

Котик: Вы поймите, я свою Наташеньку в телефоне назвал Малышкой. Она так у меня и записана – Малышка! А вы записаны как Малышко. Ведь весь сыр-бор из-за одной буквы!

Малышко: Да уж! У меня такая же история. Костик – Котик. А все-таки было красиво! Что ж, миру – мир! Войны не нужно!

Котик: Да, конечно! Поздравляю вас с таким радостным событием!

Малышко: Спасибо! Я вам перезвоню, когда мне опять понадобится бухгалтер.

Котик: Приятно было пообщаться.

Малышко: Еще бы!

Где ты?

(еще одна история в смс-ках)

Отд. фотографии: Валерий, здравствуйте! Давайте перенесем нашу встречу на завтра, в офисе, в 16.00. Дело в том, что у нас еще не готовы фотографии.

С уважением,

Лена, отдел фотографии

Ника: Валер, что с тобой?! Почему не берешь трубку?!

Леша: Валер, я посеял квитанцию на пятьдесят штук! Я попал! Перезвони, я уже во всех местах поседел! Меня же сожрут с дерьмом за эти бабки! Хелп!

Зинаида Михайловна: Валерий Викторович! Это Зинаида Михайловна! Я ваша соседка снизу! Вы меня затопили! У вас прорвало стояк, перезвоните срочно! Вам нужно как можно скорей приехать домой. Кипяток льет повсюду! Обои отклеиваются! У меня давление!

Вера: Валерик, котик. Ты когда будешь? У Насти зубы режутся. Плачет, кричит. Что делать? Педиатр говорит – терпите, нельзя никаких лекарств! У нее жуткие аллергии. Я в шоке, перезвони.

Ника: Валерик! Если ты не возьмешь трубку или не перезвонишь, я возьму результаты УЗИ и пойду к твоей жене и расскажу, что беременна от тебя! Где ты? Ау?

Леша: Валер! Хелп! Ахтунг! Перезвони срочно! Я уже мыло и веревку купил. Что делать? Я все перевернул, нет нигде квитанции. Это полная... даже слов не подберу!

Бухгалтерия: Валерий, не забудьте занести ваши документы в бухгалтерию. Перезвоните нам скорее, пожалуйста, есть срочные вопросы по поводу вашей командировки.

Лиля: Валер, срочно появись в офисе, мало того, что у нас собрание перенесли с 16 на 14, так у нас еще, блин, появились проблемы в типографии. Там станки полетели. Никто не знает, что делать! Приезжай, спаси нас, Еленадра рвет и мечет!

Зинаида Михайловна: Валерий Викторович! Почему вы не перезваниваете? Не будьте хамом, возьмите трубку. Прекратите издеваться, я ведь все-таки вам не девочка, я вам в матери гожусь. Если не ответите, то я иду в милицию! В прокуратуру!

Ника: Валер! Почему ты не перезваниваешь? Трубку не берешь?! Я звонила тебе в офис, твоя Лилька врет, что тебя нет! За что ты так со мной? Где ты?

Вера: Валерик, котик! Только что звонили из офиса, Еленадра спрашивает, почему ты не явился ни на собрание, ни на вызов по поводу типографии. Где ты? Что с тобой? Кстати, я купила прикольные шторы, да, из египетского хлопка. Такие миленькие. Настя все еще плачет.

Леша: Валер, я решил потихоньку слинять из офиса, буду сидеть и бухать, на нашем месте. Если что, заходи! Только вот не надо, что, мол, это детский сад, сбегать вот так. Лады?

Ника: Валер, тут мне звонила Зинаида Михайловна! Ну, та соседка снизу. С нашей квартиры, которую мы снимали с тобой. Говорит, что типа мы ее затопили. Лично я ничего платить за ремонт не буду. Короче, в договоре на квартиру меня нет! Так что утрись!

Лиля: Валер, тут такое дело, Еленадра грозитя тебя уволить, если ты сейчас же не приедешь в офис. Ты на звонки не отвечаешь, не перезваниваешь, твоя жена говорит, что ты уехал в офис еще утром. Тебя здесь все ищут. Тут такая запара!

Лиля: Валер, милый, только приди! Если тебя уволят, то и меня заодно! Ты же знаешь Еленадру. Ее всегда можно уговорить, она позлится и перестанет. Блин, если она меня уволит! Мне же за комнату платить и за учебу!

Леша: Валер, я тут набухался и деньги все пробухал, я еще бару должен. Можешь приехать и заплатить за меня? Я тебе верну. А то они меня из бара не выпускают!

Лиля: Валер, я никогда тебя ни о чем не просила. И на все глаза закрывала, я всегда тебя прикрывала. И даже, когда ты меня ради Ники бросил, и то простила. Ты только приди! Еленадра говорит, что без тебя я не нужна, я могу ехать обратно в свою мухосрань.

Лиля: Валер, может, ты забухал где? Ты только скажи, я все что угодно придумаю, прикрою. Только скажи, где ты?

Елена Андреевна: Валерий Викторович, вы уволены! Документы можете забрать, когда хотите!

(без подписи, номер не определился): Валер, знаешь, я взорвусь, если ты не перезвонишь! Как ты можешь так со мной...

Вера: Валер, к нам приходила Ника, ты сволочь, Валера! Ты ведь еще и с Лилей успел!

Лиля: Валер, зачем ты так? Главное зачем? Твоя жена только что звонила, наговорила мне. Я вот собираю вещи. Твои оставила. Заберешь сам.

Елена Андреевна: Валер, прости, что я тебя уволила, но ты сам понимаешь, ГенБорисыч меня просто убил бы. Знаешь, он догадался о том, что мы с тобой переспали тогда во Владимире. Он давно на тебя зубы точит. Ты не волнуйся, я тебя потом пристрою куда надо. Ты главное не пропадай, перезвони мне. Жду.

(без подписи, номер не определился): Знаешь, Валерка, я только что поняла, я ведь никогда не была счастлива с тобой. Никогда. Но без тебя хуже, чем с тобой.

Из истории болезни:

Больной был обнаружен у станции метро «ВДНХ», 14.03.08. Он снял с себя одежду, с невнятными криками голый катался по земле. Был задержан и доставлен в нашу больницу сотрудниками милиции.

Первичный осмотр у психотерапевта показал наличие у пациента ряда психических расстройств. Диагноз будет уточняться в ходе дальнейших исследований.

Личность больного устанавливается, в связи с чем была сделана распечатка с его мобильного номера: звонки и смс. Распечатка смс прилагается.

Во время подготовки этой распечатки на номер больного пришло смс: «Где ты?»

(Номер не определен, без подписи.)

Про Косинуса, Зину и косу

Однажды еду я в метро, сижу одна в пустом вагоне, читаю книжку. Перед самым закрытием, возвращаюсь с концерта Гребенщикова.

Входит в вагон дядька в форме. Указывает пальцем на косу (кто-то оставил, интересно кто):

– Девушка, коса ваша?

А на мне как назло куртка черного цвета, с капюшоном, и джинсы темно-синие.

– Ваша-ваша, признавайтесь! Вон и одежда соответствующая. Вы, наверное, гот? Забирайте немедленно, а то оштрафуем за перевоз в ненадлежащем виде. Кстати, вы за провоз багажа заплатили?

Я онемела.

– Короче, на, возьми, и чтобы духу твоего здесь не было. Кстати, чего читаем?

В руках у меня любимое – «Хождение по мукам».

– Вот видишь, и чтиво у тебя подходящее. Бери косу по-хорошему.

Я взяла. Выхожу с ней в ночь. А тут еще и дождь залил. Сама природа против меня. Пришлось капюшон надеть. Вид у меня был еще тот. Просто смерть с косой.

Пока шла, придумала – а подарю-ка я ее моему другу Косинусу. Во-первых «коса» и «Косинус» – почти однокоренные слова. Во-вторых, у него вроде есть какая-то дача. И он собирается страусиху купить, чтобы она ему яйца несла, огромные страусиные, одно яйцо целый ящик куриных заменяет. Так пусть он косой для этой чудоптицы косит и забивает траву. Много травы.

И вот с мечтами о траве и яйцах громадных иду я по улице. Несу косу. Прохожие шарахаются в стороны, мечутся по тротуару. А я улыбаюсь и только крепче сжимаю подарок в руке. Обожаю делать людям приятное, неожиданно радовать их. А что может быть приятнее такой роскошной и дорогой штуки.

А под мышкой любимое – «Хождение по мукам».

А в голове мысли: вот если его страусиха снесет яйцо, как раз на Пасху, это какой же размах для творчества будет, это ж как прекрасно

будет его красить! Яйца у этих гигантов мощные, просторные. Места для любой картины хватит.

Представляю, как будет здорово, если Косинус свою страусиху назовет Фаберже, и тогда у нас будут яйца от Фаберже. Как в лучших домах Лондона!

А какие волшебные кораблики можно будет делать из скорлупы!

Брожу, мечтаю.

На перекрестке останавливает меня дядя милиционер.

— Куда идем?

— К другу, к Косинусу, он здесь живет недалеко!

— А почему с холодным оружием?

— Так это же не оружие, это сельскохозяйственный инструмент.

Вот глядите.

Пытаюсь снять с плеча, показать хочу, милиционер отскакивает в шоке.

— Тихо-тихо, без резких движений. Документы покажем.

Вынимаю из кармана студенческий, демонстрирую. Он забирает. Держит в руках.

— А почему в черном? Ты что, против чего-нибудь протестуешь?

— Нет, что вы, просто другой куртки у меня нет. Только такая.

— А коса откуда?

— В метро дали. Сказали, не возьмешь, оштрафуют. Ну, я и взяла.

А что делать?

— Тебе-то она зачем? Ты ведь наверняка в общежитии живешь!

— Ага, в общежитии, мне ни к чему. Но вот мой друг Косинус купит страусиху и станет для нее траву косить, чтобы у нее яйца были крепкие и крупные. Ей полезно. Мы потом все вместе будем их красить и из скорлупы игрушки делать. Например, чтобы елку украшать.

— Какие елки? Май месяц.

— Ну это же неважно, май не май, главное, чтобы радостно было. Если хочется, можно и в мае елку, и в феврале 8 Марта отмечать. Жизнь такая короткая, надо ее счастливо прожить. Иначе смысла нет.

— Так-так... Ну-ка дыхни. Вроде трезвая. Откуда идем?

— С концерта БГ.

— А, ну ясно. Что читаем? Ага, ну, значит, ты ходишь с косой по мукам?!

В это время у дяденьки зазвонил мобильник. Хватает трубку.

– Алло, Зиночка! Алло, милая моя, солнышко пушистое! Я где? На работе! Ты чего не спишь? Деткам спать пора, ну, не плачь, папа скоро придет, утром. Ну что ты, не реви. Ревушка-коровушка. Нет, не умею колыбельные петь. Нет! Хочешь, я тебе смешной случай расскажу лучше? Вот у нас было однажды, один друг мой написал рапорт... Нет, сказал же, петь не могу...

Мне (шепотом):

– Жена у меня в больнице лежит, на операции. А дочку не с кем оставить, сидит дома одна, страшно и грустно, уснуть не может. Ты можешь спеть что-нибудь? Только медленное? Чтобы малышка уснула? Пожалуйста.

Мои документы у него. А у меня только коса. И «Хожение по мукам».

Напрягаюсь, выдаю, только очень медленно:

– А-а-а, крокодилы-кашалоты, А-а-а, и зеленый попугай. Если долго-долго-долго, бегать, прыгать по дорожке...

Так, наверное, должна была петь Красная Шапочка, если бы она очень сильно обкурилась, ну просто очень, от невыносимости бытия и непонимания всей мировой экономики.

Ну, думаю, вот отвяжусь, спела же по заявкам трудящихся. Но фигушки! Девочке почему-то нравится, как я пою (я сама в шоке), просит еще.

И вот так и стояли мы с дядькой. Он держал у моего рта мобильник, я пела всё, что могла вспомнить. Под конец даже гимн родной страны исполнила три раза, очень и очень медленно, по слогам почти.

А в финале стала сочинять на ходу о том, что вижу:

– Вот стоит твой папа, стережет наш город, я стою рядом, стерегу косу, дождь все не кончается, а слова кончаются, книжка у меня промокла, куртка у меня промокла, ботинки у меня промокли, и я больше не могу. Почему же ты не спишь, наш малыш?!

Вспомнился старый анекдот: «Папа, я хочу посмотреть, как слоники бегают».

Но было не смешно. Было грустно. И всех было жалко, и девочку, и милиционера, и себя, и Косинуса, который сидит без косы и не знает, без какой радости он остается.

Прохожие с удивлением смотрели на нас с милиционером:

– Смотрите, мент мало того что смерть арестовал, так он ее еще и петь заставляет. Силен брат! Ничего не скажешь!

А еще я рассказывала Зинке сказки по телефону, какие-то легенды и байки. Вынимала из памяти, сочиняла на ходу.

Зинка просила еще и еще. Под конец разговора она спросила:

– А ты волшебница?

Я ответила:

– Нет, конечно же нет, я писательница, это гораздо круче. Это даже круче, чем быть Бабой-ягой и Мэри Поппинс!

– А ты не знаешь, когда вернется моя мама?

– Скоро! Она вылечится и приедет к тебе. Подожди ее, ладно?

– Ладно!

– Спокойной ночи, Зина!

– Спокойной ночи!

Милиционер честно отдал мои документы, а адрес и номер телефона на всякий случай записал.

– Это для Зины, если ты не против.

– Да нет, для Зины пожалуйста.

А потом наш прекрасный дядя Степа проводил меня до дома Косинуса, тот перепугался насмерть:

– Ты чего натворила?

– Ничего!

– Ну, скажешь тоже, тебя в гости под конвоем водят. Говорил же, надо чаще к друзьям заходить. А ты! И все-таки, если по-честному?

– Я в метро ехала, а мне там косу дали. Сказали, бери, а то...

– Интересное дело, а в метро больше ничего не раздавали? Ты мне скажи, на какой станции это было, я тоже буду там ездить. А то мне пила нужна, и цемент там. Вдруг дадут. Слушай, а может, это была добрая фея? И в двенадцать часов твоя коса превратится в тыкву? Который час, кстати?

Косинус еще долго надо мной стебался. Но мне было счастливо, потому что я видела, что подарок ему нравится и что он рад, что я пришла в гости. И вообще, дождь кончился. И скоро рассвет.

Мы с ним сушили феном мои волосы и мои любимые «Хождения по мукам» и смеялись над всей этой историей.

Я думала о том, что сессию я сдала, что Зинка, дочь милиционера, уже спит и папа скоро к ней вернется, что концерт БГ был прекрасен, что яйца от Фаберже можно будет расписывать очень долго, они будут большие, на всех хватит.

И что наконец-то можно будет выпить горячего зеленого чаю и уснуть в кресле-качалке, которое есть у Косинуса, и место в нем всегда для меня.

И еще я думала про то, как здорово, что я это я, что у меня столько чудесных друзей, к которым не жалко ночью тащить косу через весь город, что у меня есть «Хождения по мукам», и самое здоровское, что у меня есть жизнь и я ее очень люблю.

И она меня тоже любит.

Р. С. Косинус все-таки купил страусиху, совсем недавно, но ее яйца уже всех достали и всем надоели. Куда он их деваает, не знаю, ест, наверное. Страусиху назвал назло всем нам не Фаберже, а Клара Цеткин!

А коса пригодилась. Она у него, правда, сначала долго пылилась в прихожей. И зимой Косинус ею ломал лед у парадной. Выходил ночью (а когда ж еще-то) и ломал. А летом он косой косит. Что удивительно и неожиданно.

А еще он научился на косе играть. Это как на пиле, только звук тоньше. Кроме того, Косинус пытался ею ворон пугать. Они ни фиги ее не боятся, наоборот, прилетают посмотреться в нее как в зеркало и посидеть на ней. А однажды ее наряжали вместо елки. И на Хеллоуинах она незаменима. Отличный подарок. Надо будет кому-нибудь еще такое же подарить.

Только название мы ей не придумали.

Вот если бензопила, то «Дружба», а если коса, то что – «Любовь», что ли? «Нежность»? Нет, «Нежность» – это йогурт такой. И наручники для садо-мазо, пушистые, розовенькие.

Может, вы подскажете? А то мы совсем сбились с ног! Хотели даже назвать косу «Любознательность»!

Зина и ее папа мне потом еще звонили, пока их мама не выписалась из больницы. Зина теперь уже в школе. В первом классе. Замечательная девочка растет.

Черных курток я больше не ношу. Принципиально.

А песни по телефону и сказки иногда рассказываю знакомым детям. Если им почему-то не хочется спать.

И если встретите человека в черном плаще и с косой, не бойтесь, это не смерть, это Косинус, мой старый друг, едет за город, косить и забивать, для своей любимой страусихи!

Что я поняла за прожитую жизнь?

Однажды я работала ассистентом у одного режиссера-документалиста. У него был один самый любимый вопрос, который он задавал всем своим героям:

– Что вы поняли за всю свою прожитую жизнь?

Люди смотрели на него, задумывались и очень по-разному реагировали. Кто-то плакал, кто-то смеялся, кто-то пожимал плечами. Одна женщина заплакала, потом напилась, а после бросила своего мужа, уволилась и уехала из нашего города навсегда. Вот что делает порой только один вопрос.

Недавно мне исполнилось тридцать три, ужас, да? Сама в шоке. Вот решила ответить самой себе. Чего я поняла за прожитую жизнь...

1. Когда еще была дитем, слушала бабушкины рассказы про Крым, про Черное море, про то, что она, бабушка, родом из крымских татар, тех самых, которых выселили из их родных краев. Но все равно Крым – наш дом, и мы туда однажды вернемся.

Говорила о море, а у нас вокруг была степь, с холмами и пустынностью.

Песок под ногами.

Камни.

Трудно верить, что море существует где-то вдали, когда ты живешь в пустыне. Трудно верить, трудно понимать, что это твой дом, что там тебя ждет родная земля.

А у меня на голове была соломенная шляпа, как будто сейчас лето и мы на берегу моря. И шапка теплая под шляпой, потому что зима и ветер холодный, чтобы не простудилась.

Я поняла. Море должно быть внутри тебя. И соломенную шляпку можно носить, даже если солнца нет совсем и холодно. Главное, чтобы у тебя под ней была теплая шапочка.

2. А еще у меня есть подруга. Она нганасанка. Выросла в интернате. Родного языка не знает. Однажды она привезла в Питер бабушку, лечить ей сердце. Они с бабушкой с трудом понимают друг друга. Подруга целовала бабушкины руки, обнимала ее, и этого было достаточно для понимания.

3. Однажды у меня в ванной жил крокодил. Настоящий. Дело в том, что мы с Косинусом гуляли как-то по Петроградской стороне, общались, и вдруг в траве нашли его. Он крохотный, мелкий, меньше ладони. Кто-то из новых русских завел, поиграл и выбросил. Экзотика быстро надоела. Косинусу было домой не забрать, у него там коты. Они бы не поняли. А вот его знакомые из Московского зоопарка могли бы и пристроить малыша. Но только через пару дней.

Требовалось спрятать кроху на это время. Кроха пожил у меня, в той коммунальной комнате, которую снимала. Я его прятала то в сумку, то под майку, то под шляпу, то под курткой. Иначе бы меня выселили вместе с Годзилликом (так его мы с Косинусом назвали).

Годзиллик ласково сожрал мои единственные туфли, и пришлось ходить в голландских деревянных сабо, которые подарили мои друзья.

А однажды из-за Годзиллика один мой сосед бросил пить. Он в ванную прошел, а там, в умывальнике, крокодил. Сосед из ванной с воплями.

Ему: Меньше пить надо, Ваня!

Ваня: Да не вру! Видел. Айда, покажу!

Входят, а крокодила уже нет, это я его вовремя схватила и под футболкой прячу. Кусается, сволочь, но терплю, не выдаю краснокнижное животное!

Ваня с тех пор ни капли. А крокодил теперь в зоопарке.

4. Однажды я была призраком. Дело в том, что девочка Лидочка, когда была совсем мелкой, не могла уснуть без историй. Я по дурости придумала одну, про призрака, который живет среди деревьев. Призрак пел песни и качался на ветках.

Она поверила. И требовала новых историй, выясняла, как дела у него и почему мы его не видим. Пришлось одной лунной ночью одеться призраком и так качаться и петь, стенать и плакать.

Но недолго музыка играла. То есть недолго я на ветвях призраком сидела. В самый торжественный момент ветка хрустнула, и все, сказочке конец.

Девочка Лидочка с восторгом мне потом рассказывала, с каким воплем призрак улетел в темноту, смотрела на мои синяки на лице и рассказывала, а я слушала, с трудом кивая перебитой шеей, и улыбалась из последних сил. Дети – наивные до чего.

5. Однажды один бармен влюбился в меня и в порыве страсти изобрел в мою честь коктейль с моим именем. Так вот, коктейль был настолько гадостным, что я была готова отдаться этому человеку, лишь бы он его переименовал и не позорил мое честное имя. Так вот, я опоздала, не успела я ему отказать, как он тут же назвал коктейль именем другой навечно любимой девушки. У него, оказывается, этот коктейль как неразменный рубль, всегда в действии. Откажет одна, назовем в честь другой. А напиток все равно гадость! От него изжога!

6. Однажды тигр сожрал паспорт моего друга! Друг мой тогда работал в зоопарке. И вот, надо было покормить тигра, а потом пойти в отдел кадров. Паспорт лежал в кармане. А потом там лежать перестал, ну выпал из кармана, бывает всякое... А тигр был настолько старенький и настолько слабовидящий, что сожрал паспорт вместе с мясом. Мы сидели и торжественно ждали, когда паспорт покинет тело тигра. Все инсталляции современного искусства ничто по сравнению с тем, что способен организм тигра сделать с советским документом!

Вообще надо новый жанр ввести! Документо-перевариизм! Чур, я первая его придумала! Бегу за патентом!

7. Однажды я шла по улице и встретила крохотную женщину, маленькую и тоненькую. Ей было лет где-то сорок. Она пряталась в подворотне, глядя украдкой на балкон, где какой-то седой мужчина сидел и курил. А потом он потушил свою трубку и ушел с балкона.

Женщина прижала руки к лицу и тяжело вздохнула: «Устала я без тебя, устала. Поистерлось мое сердце по тебе, видишь, какие на нем ссадины? Всё в шрамах, всё в рубцах. Мое сердце – один большой тяжелый рубец».

И вдруг она бросилась из подворотни и убежала куда-то. Исчезла в тумане. У нас в Питере часто туман, часто-часто. И люди легко в нем исчезают, теряются. Да вы и сами знаете.

А вот это осталось у меня в памяти – «поистерлось мое сердце по тебе».

В первый раз

Я немножко владею языком жестов, на котором говорят глухие, только на таком низеньком бытовом уровне. Иногда бывает, увижу интересный диалог, с трудом себя отрываю, чтобы не подглядеть, знаю, как не любят глухие, когда смотрят их разговоры.

Итак, стою одна, в метро, смотрю в карту, чую, заблудилась-замоталась, а спросить стесняюсь.

Вдруг передо мной...

Как в сказке.

Два юных сияющих лица.

Он, она – двое.

Они смотрят друг на друга. Любящие сердца.

Они говорят о Путине и о том, идти ли на выборы. Она говорит, что все равно в жизни глухих ничего не поменяется. А он говорит, что мы, глухие, все равно имеем право, мы должны, конечно, иначе наши голоса украдут, Чуров, там, но мы все равно, мы не сдаемся.

Она смеется, тебе надо реже в Интернете сидеть и всякую фигню читать, я вот не понимаю, что ты говоришь. Кто такой Чуров? Кто такой Прохоров? Зачем мне? Я в Интернете только картины смотрю, про акварель-живопись, уроки рисования, фотографии, письма от родных, больше ничего не хочу. Ты от брата говорящего набрался. От старшего своего?

Она говорит про то, что в магазине появилась хорошая краска со скидкой, кисточки и тушь. У меня есть скидки, карточка магазина. Он говорит, спасибо, ты... (краснеет, краснеет, КРАСНЕЕЕТ) милая.

Она тоже краснеет, она бледнеет, она сейчас упадет в обморок, он сказал ей, что она милая.

Она сейчас потеряет сознание.

Он сказал мне, что я милая.

Они любят друг друга. Они еще ничего не сказали друг другу. Он боится и пугается своего чувства, он, наверное, в первый раз так сильно и так серьезно.

Они говорят, а у них руки летают, у них глаза сияют. И поезд кажется праздничным залом, Наташа Ростова, у нее первый бал.

Он встал вполоборота, он защищает ее, чтобы не толкали ее, не давили.

Он встал так, чтобы их разговор защитить.

Чтобы свет, который от ее глаз, – спрятать за своей спиной.

Они говорят, а я просто чувствую, что любви от них двоих, чистой и радостной столько, столько, СТОЛЬКО, что можно согреть не то что эту замерзшую Россию, но и всю галактику и весь космос.

И еще на пару планет хватит.

Он говорил про Интернет, про Гугл и видео, как монтировать. Хочешь, научу, меня брат научил... Он говорил и случайно ладонью коснулся ее лица. Отпрянул, как будто обожгло.

Прости, я случайно. Прости.

Как будто богохульство произошло, как я посмел ее коснуться...

Она: ничего-ничего.

Она и рада, и пугается.

Она стесняется и страшится.

Это все впервые у нее.

И у него...

Кто они? Соседи? Может, учились вместе? Может, просто друзья-знакомые?

Не важно...

Они смотрят друг на друга, неразделимые, негасимые, два любящих сердца.

Любви столько, что я просто купаюсь в ее сиянии, мне вдруг так тепло и радостно, так светло и счастливо, что кажется: в каждом атоме моего тела – счастливый взрыв.

Такое чистое, яркое.

Целомудренное.

Такое нежное, трепетное.

Он почувствовал, что я смотрю, спиной почувствовал, оглянулся на меня, я выскочила тут же на какой-то станции, испугалась испортить им...

Стою с картой.

Такой праздник в душе, даже не сказать...

Держу в руках карту метро, да наплевать, что потерялась! Да не страшно мне ничего.

Жизни больше не боюсь, ничего не боюсь.

Совсем ничего.

Счастье в каждом атоме моего тела.

Ко мне подошел какой-то мужчина:

– Девушка, с вами все в порядке? Вы стоите и уже полчаса просто самой себе улыбаетесь. Что с вами?

Я не стала объяснять. Да и как тут объяснишь?

Показала карту, спросила, как проехать до театра.

Что-то еще спросила.

Да неважно.

Было хорошо...

А он постоял, поговорил со мной, и, видимо, ему это чувство счастливое передалось радиоактивными частицами. И он тоже стал улыбаться, радостно и легко. И мы разошлись, как будто после свидания.

Бывает, да?

Бывает...

Транслирую любовь

Бегаю сегодня по городу: дела-дела. Вдруг вижу, трое мужичков. Весьма потрепанных.

Двое из них уговаривают третьего:

– Семен, пошли! Ну пошли! Бутылок пособираем, денег получим, пропьем!

Семен сидит, он в трансе.

Они ему:

– Семен, ну чего ты? Ну пошли!

Он:

– Я занят!

Они:

– Чем же ты занят?

Он:

– Я транслирую любовь!

Иду мимо. Хватает за руку. А давай вместе!

Я:

– Что вместе?

Он:

– Вместе транслировать. Ты просто стой рядом, ты просто смотри в небо. Солнце греет.

Мужики:

– Ну еклмн.

Встаю рядом, молчу, смотрю, чувствую, да. Хорошо на свете жить, трудно, больно, сложно, но хорошо. ПОНИМАЕТЕ, ХОРОШО??!!!

Теперь я всегда буду говорить так, мол, транслирую любовь, если кто спросит – чем занимаешься?

Потом я дальше побежала по своим тараканьим делам, а мужики остались уговаривать Семена.

Смешно, да?

Мне лично – очень смешно.

А еще думаю, вот в следующей жизни я бы хотела быть таким духом, который придумывает сны для людей – сюжеты и идеи снов – и

отправляет по невидимой почте. А какой-то волшебный дух-режиссер (пусть это будет, к примеру, мой приятель Сергей Напалков, у него получится) ставит их, и готовый продукт смотрят чьи-то незнакомые нам счастливые глаза.

Мы бы с Сережей снимали бы только счастливые, радостные сны.
Никаких кошмаров.

Ну, разве что совсем чуть-чуть...

Или вот я бы хотела быть каким-то призраком, который ездит в поездах и рассказывает истории всем, кто едет один, чтобы не было скучно и грустно одному. А еще я бы помогала потерянным детям найти родных. Или подсказывала бы на уроках тем, кто не выучил.

Вот бы пожить без тела, таким сияющим ничто, духом или призраком, привидением.

Это было бы очень интересно.